



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

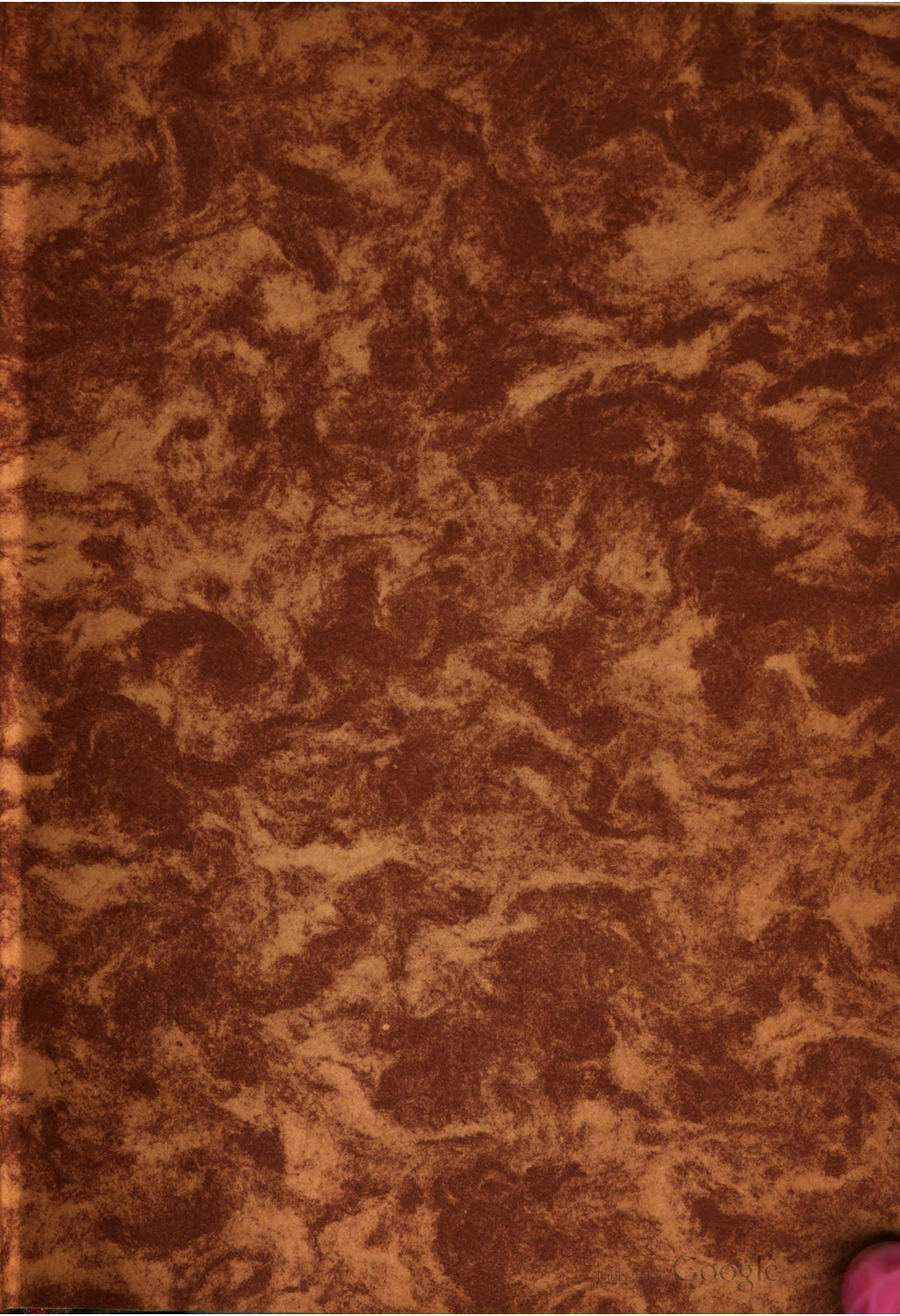
Slav 4953.78.381

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER





№

slav 4353.73.381

Всѣмъ березно, что более не вышло
по каранте московскихъ в-ки длези-
на дедиктѣ. 1899. Знаете ли
Этотъ годъ

СОЧИНЕНІЯ

ГРАФА

А. В. Соллогуба.



С.-Петербургъ.

1877.

Slav 4352.13.381



Типографія О. И. Вакста, Захарьевская ул., д. 3

7

РУССКІЕ ТИПЫ.

I.

Подсудимые.

С.-Петербургъ. 10 апрѣля.

Къ моему счастью, сегодня, въ Департаментѣ ни Директора, ни Начальника Отдѣленія не было, такъ что я могъ сейчасъ же уйти. Конечно, я воспользовался этимъ счастливымъ случаемъ. Пошелъ я на Литейную пѣшкомъ къ одному пріятелю, къ которому уже давно собирался зайти, да все какъ-то не удавалось. Пріятеля я не засталъ, и уже хотѣлъ вернуться домой, но, проходя мимо Окружнаго Суда, остановился у рамки, за рѣшеткой которой были прибиты листы бумаги и плохія фотографическія карточки.

На листахъ разъяснялись проступки и примѣты укрывавшихся подсудимыхъ. Фотографическія карточки были ихъ портреты.

При видѣ ихъ мнѣ пришло на мысль воспользоваться свободною минутою, и пойти послушать какое нибудь дѣло.

Въ залѣ присутствія было народу мало. Я сперва — не знаю почему — обратилъ вниманіе на публику, сидѣвшую спокойно и со вниманіемъ слушавшую обвинительный актъ, который читался въ это время секретаремъ. Въ числѣ слушавшихъ было много молодыхъ людей, которые приходили сюда, вѣроятно, съ цѣлью практическаго изученія науки, которую лишь знали по теоріи — науки изобличенія зла, водворенія правды. Въ одной сторонѣ залы стояло и сидѣло нѣсколько мужиковъ и бабъ съ вытянутыми шеями. Видно было, что они всѣми силами старались не проронить ни одного слова изъ того, что читалъ секретарь.

Такъ какъ я засталъ лишь конецъ чтенія, то могъ только понять, что подсудимые обвинялись въ кровосмѣшеніи. Тутъ я посмотрѣлъ на нихъ внимательнѣе. Ихъ было двое: мужикъ и женщина, крестьянка. Мужикъ былъ высокаго роста, въ кафтанѣ, перепоясанномъ краснымъ кушакомъ. Лицо у него было славное, открытое; глаза смотрѣли смѣло и твердо передъ собою; онъ отъ времени до времени гладилъ свою длинную, густую бороду. Лицо его мнѣ съ перваго же взгляда сильно понравилось. Баба, стоявшая въ двухъ шагахъ отъ него, держала на рукахъ ребенка. Славное лицо было и у бабы... Довольно тонкія губы лишь изрѣдка показывали рядъ бѣлыхъ зубовъ; онѣ почти все время оставались плотно сжатыми, что и придавало ей, можетъ быть, видъ самоувѣренный и полный.

рѣшимости. Высокій станъ ея былъ обтянутъ чистенькимъ крестьянскимъ кафтаномъ.

Прокуроръ началъ обвинительную рѣчь и говорилъ очень красиво. Я сначала было сталъ слушать, но меня вскорѣ покорибили его слова, можетъ быть, совершенно вѣрные, но—по моему—слишкомъ изысканныя и говорившіяся, видимо, эффекта ради.

Онъ изъяснялъ высокопарно, что кровосмѣшеніе не только можетъ губить общество, но и цѣлые народы; вслѣдствіе чего это зло нужно искоренять съ наивозможною строгостью; что кровосмѣшеніе—такое преступленіе, которое должно поколебать начала семейной жизни; что оно влечетъ за собой послѣдствія, которыя могутъ потрясти самыя нѣдра государства; что это—преступленіе противъ человѣчества, противъ Бога и гражданскаго общества.

Прокуроръ долженъ былъ остаться довольнымъ, такъ какъ рѣчь его произвела сильное впечатлѣніе на слушателей.

Во время этой рѣчи я смотрѣлъ на подсудимаго. Мужикъ оставался спокойнымъ, но, видимо, удивлялся тому, что слушалъ. Женщина же, повернувшись къ стѣнѣ, приподнимала лежавшаго у нея на рукахъ ребенка, и показывала ему узоры деревянной рѣзьбы, передъ которою стояла, желая тѣмъ занять малютку и удержать его отъ плача.

Все вниманіе подсудимой было обращено на ре-

*

бенка, который, не смотря на ея старанія, по временамъ громко вскрикивалъ, дрыгая ножками.

«Неужели это виновные»? подумалъ я, вспоминая, что за кровосмѣшеніе закономъ опредѣлена ссылка въ Сибирь на поселеніе.

По окончаніи рѣчи прокурора, предсѣдатель спросилъ у мужика: не желаетъ ли онъ чего нибудь сказать въ свою защиту?

Волковъ, такъ звали подсудимаго, съ рѣшимостью всталъ съ мѣста.

— Коли позволите всю правду сказать, такъ говорить стану, отвѣчалъ онъ; коли же нѣтъ, такъ судите сами, какъ знаете: слова не молвлю.

Предсѣдатель увѣрилъ его, что онъ можетъ все говорить, что касается самаго дѣла, и чтобы онъ всю правду говорилъ, безъ боязни.

— Скоро расскажешь — ничего не поймете, ваше благородіе. Я ужь съ самаго начала рассказывать стану, отвѣчалъ подсудимый. — Я, какъ себя сталъ знать, съ той поры и Дуню помню. Еще маленькими мы вмѣстѣ съ ней въ бабки игравали, да по грибы въ лѣсъ ходили. Ну, подростать стали, въ хороводахъ тоже все возились. Тогда уже я думалъ на ней жениться, да куда тѣ свадьба, коли молоко еще на губахъ не обсохло; боялся я тоже, какъ бы въ солдаты не попасть—что будешь дѣлать съ нею, коли вдругъ въ Питеръ погонять, а то, пожалуй, и на Кавказъ...

чего добраго? Пошелъ тутъ говоръ по деревнямъ, что, дескать, Французъ къ матушкѣ—Москвѣ подошелъ, сжечь, говорятъ, хочетъ. Пошли такіе толки — знамо, мужицкіе — что просто страсть! Говорили, будто, 10 человекъ съ тысячи понабирать стануть. И не долго мы въ покоѣ оставались: пріѣхали чиновники — и пошелъ наборъ. Меня почти перваго забрали... Солдатомъ страсть хотѣлось быть, а Дуню покидать — сердце щемило. Ничего тутъ не подѣлаешь! Простился я съ ней, да прямо въ полеъ и отпавился. На проводахъ она меня ждать крѣпко общалася. «Богъ милостивъ, говорила, сведетъ онъ насъ, коли просить станешь». Ее семь лѣтъ я не видалъ, а все, у обѣдни стоя, за нее, бывало, помолюсь. Раненъ тогда я былъ, въ больницѣ мѣсяца три пролежалъ, помирать собирался, а все про нея я думу думалъ, точно, она въявь передо мной стояла. Еще въ больницѣ я отъ родныхъ вѣсть получилъ, что мать моя приказала долго жить. Только этотъ разъ про своихъ я и слышалъ.

— Семь лѣтъ прошло; въ безсрочный отпустили. Поплелся я на родину... Пришелъ я въ свое село, сталъ передъ церковью креститься; вижу вдругъ, съ коромысломъ баба идетъ, гляжу: сама Дуня. Повытнулася таки въ 7-го лѣтъ она! Гдѣ встрѣтились, тамъ и остались до поздняго вечера, на могилахъ сидючи. Что жъ, ваше благородіе! Не на радость я въ родное село вернулся: тутъ я все отъ самой Дуни

узналъ. Отецъ мой безъ малаго два года передъ тѣмъ женился: Дуня мнѣ сестрою приходилась. Отецъ мой въ хозяйки-то, вишь, ея мать взялъ. Ошеломило меня это маленько; тогда на отца я больно гнѣвался. Ну, да дѣло сдѣлано; не вернешь. Пришлось въ семьѣ жить... Крѣпился я, видить Богъ, крѣпился. Бывало, Дуня въ избу идетъ, а я—изъ избы, да на улицу. Коли она на улицѣ, али гдѣ на дворѣ возится, такъ я ужъ безпремѣнно въ избѣ сижу. Чего и говорить, просто мученье было! По цѣлымъ мѣсяцамъ на заработки ходилъ. Думалъ: какъ изъ глазъ вонъ, все легче станетъ... Разъ на заработкахъ былъ, плотину въ Ивановѣхъ прудилъ, вдругъ работникъ за мной прѣхалъ—отцу глаза закрыть навазывали. Лошадь его въ конюшнѣ убила. Съ той поры я на заработки ужъ больше не хаживалъ. Никого дома не было, пришлось мнѣ оставаться. Братъ старшій въ городѣ маляромъ состоялъ. Мачиха, да Дуня оставались на моихъ рукахъ. На шестой день по смерти родителя-то мово, встали мы... Я работой кое-какой поубрался, глянь—мачиха пропала. Туды-сюды, нѣтути, пропала—да и только! Люди говорили, какъ она въ телѣгѣ по городской дорогѣ ѣхала. У отца деньги водились, прельстилась что ли она ими, али что, да ихъ-то мы, какъ и ее, послѣ ужъ и не видывали.

— Остался я тутъ одинъ съ Дуней. Сталъ самъ пашнею заниматься; она мнѣ правой рукой была. Жили

мы съ ней такъ родъ цѣлый, душа въ душу. Браннаго слова не слыхала она отъ меня. На ту пору первый ребенокъ у насъ родился. Грѣхъ что ли онъ былъ— Богъ вѣдаетъ: а я ее все таки своею женою считалъ: да какъ же! ходилъ я тогда къ преосвященному нашему, просилъ, чтобы жениться мнѣ на ней позволилъ. И слышать не хотѣлъ. Ну, окрестили ребенка, да дорогонько пришлось батьку отблагодарить — цѣлую трешну отдалъ. Хозяйство хорошо у насъ пошло. На второй годокъ второго ребеночка окрестили. Опять пошелъ я просить, чтобъ женили насъ, на гербовой бумагѣ прошение подавалъ,—такъ безъ отвѣта и оставили... Пришелъ тутъ приказъ Царскій, безсрочнымъ въ поля собирать. Тяжело было уходить: третьяго ребенка ждалъ, да нечего дѣлать, отправился. Года три съ лишнимъ продержали и опять отпустили во свояси... Въ хозяйствѣ нетокма упущеній не нашелъ, а десятинки двѣ въ полѣ Дуня работниками засѣвала поболѣе супротивъ прежняго. Какой же и быть еще женѣ! сама за бороной, сама за сохой, въ лѣсъ топливо заготовлять сама ѣздила. Другой солдатъ уйдетъ изъ деревни-то, такъ кромѣ стѣнъ въ избѣ ничего и не найдетъ, вернувшись. А Дуня-то—что тебѣ самъ хозяинъ! Даромъ, что сосѣди пальцемъ-то тыкали: дескать, незаконно вы живете. Поди самъ законнѣе-то поживи! Ужъ видно, ваше благородіе, такъ и Богъ рѣшилъ, чтобы быть ей моею женою. Коли бы Господь это грѣхомъ считалъ, такъ

давно бы и наказалъ, а онъ по сию пору все еще мигуетъ. Да какъ же ей и не быть женой?—вѣдь, безъ малаго пятнадцать годковъ живемъ, пятерыхъ дѣтей прижили, а и слова дурнаго николи другъ отъ друга не слышали. Обидно только супротивъ людей-то, что не попъ вѣнчалъ, да вотъ и то, что подъ судъ попали; а то бы и горюшка мнѣ мало.

— Вѣдь, самъ попъ, что на меня пожалился, и тотъ сказать можетъ: много ли у него въ приходѣ такихъ дворовъ, какъ мой-то; издавна знаетъ онъ меня; четверыхъ дѣтей окрестилъ, все по зелененькой я ему давалъ, а пятый пришелъ, синенькую ему, вишь, пожелалось. Я и хотѣлъ, было,—по рукамъ, да жена воспротивилась. Пойдемъ, говоритъ, въ Никольское, тамъ и за три окрестятъ. Такъ въ Никольскомъ и окрестили. Батюшка-то нашъ и осерчалъ, да и пожаловался. Дай я ему пять рублей, тогда мы до смертнаго дня дожили бы, и не потревожилъ бы онъ насъ. Да чего тутъ говорить? Коли передъ закономъ преступилъ... Ну, что жъ! пошлите въ Сибирь. Дуня-то за мной пойдетъ. Ужь только сдѣлайте вы Божескую милость: дозвольте мнѣ жениться-то на ней! Эй, баба, подь-ка сюда, кланяйся въ ноги!

И Волковъ, упавъ на колѣни прежде, чѣмъ кто либо могъ удержать его, продолжалъ дрожащимъ голосомъ:

— Будьте отцами родными! заставьте за себя Бога

молить. Поколѣ живѣ, все молиться за васъ будемъ, только разрѣшите жениться! Коли въ Сибирь—такъ и въ Сибири, вѣдь, съ нею уживусь, только ужъ разрѣшите!..

Волковъ всталъ, жена встала за нимъ, отошла на свое прежнее мѣсто и, повернувшись къ публикѣ, стала кормить ребенка. Только когда ея мужъ просилъ позволенія жениться на ней, она, какъ будто проснувшись, стала вслушиваться въ слова мужа: и когда онъ, подзвавъ ее, приказалъ ей кланяться въ ноги, она, видимо, задрожала и, кланясь до земли, глазами и жестомъ молила о томъ же, о чемъ просилъ ея мужъ.

Тутъ всталъ защитникъ и произнесъ рѣчь, хотя и короткую, но до того скучную, глупую и бессвязную, что еле-еле не возстановилъ противъ подсудимаго всѣхъ присутствующихъ. Предсѣдатель произнесъ только нѣсколько заключительныхъ словъ. Присяжные стали выходить одинъ за другимъ. Многіе изъ публики тоже вышли. Волковъ подзвалъ къ себѣ одного изъ мужичковъ, сидѣвшихъ на свидѣтельской скамьѣ,—и я, сидя не далеко отъ нихъ, могъ разслышать ихъ разговоръ.

— Здорово, Михѣй! спасибо, что подошелъ—сердце отвести, говорилъ Волковъ.

— Ничаго, Митька, тебѣ не будетъ, помани ты мое слово... ничаго! увѣрялъ Михѣй.—Врѣтъ батька, что

въ Сибирь пошлютъ: это онъ, вѣдь, такъ — изъ зло-
сти пророчить. Да съ ума рехнулись, что ли, чтобы
тебя въ Сибирь ссылатъ? Съ ворами — съ мошенни-
ками, да честныхъ людей!.. Врѣтъ батька, врѣтъ! про-
должалъ онъ утѣшать Волкова.

— Михѣй, коли ужъ на зло дѣло пойдетъ, про-
сишь его Волковъ, ты, смотри, всѣмъ кланяйся, не
забудь!

— На что забыть, не пустое корыто — слышу! мо-
вилъ мужикъ.

— Душѣ-то трудно будетъ одной съ ребятами управ-
ляться! сказалъ Волковъ, и потупился.

— Чего дурь-то баять? вмѣшалась въ первый разъ
Дуня. — Въ Сибирь посылать: нехристи они, что ли,
прости Господи? — Не плачь, родимый, не плачь, обра-
тилась она къ ребенку, уже собиравшемуся за-
пищать.

Тутъ вернулись присяжные и разговоръ былъ прер-
ванъ.

Волковъ былъ оправданъ. Онъ всталъ и три раза
перекрестился. Хотѣлось и мнѣ тоже сдѣлать. Дуня и
не слыхала оправдательнаго приговора: ступая шага
два, то назадъ, то впередъ, она укачивала на рукахъ
засыпавшаго ребенка, что-то нашептывая ему.

Толпа стала расходиться, и я вышелъ за нею.

Остановившись на улицѣ, я черезъ нѣсколько ми-
нутъ увидѣлъ обоихъ бывшихъ подсудимыхъ. Волковъ

шелъ весело и несъ на лѣвой рукѣ ребенка. Дуня шла за нимъ, опираясь рукой на его плечо. За ними шло нѣсколько мужиковъ и бабъ, У мелочной лавочки они остановились и сошли внизъ по ступенямъ лѣстницы.

Проходя мимо дверей лавочки, я заглянулъ туда и видѣлъ, какъ лавочникъ отвѣшивалъ имъ громадный ломоть ситника, а они, снявъ шапки, крестились, приступая къ своему скудному завтраку.

II.

АВДѢВЪ.

Атлантическій Океанъ, 21 сентября 186* года.

Славный день мы провели вчера. Шли мы ^{уловъ} 10 въ часъ. Къ вечеру задуло посвѣжѣе, а во время молитвы, передъ разбираніемъ коежъ, вѣтеръ такъ за-свисталъ и завылъ, что еле-еле слышны были голоса сотенъ поющихъ людей. Никогда общая молитва не производила на меня такого впечатлѣнія, какъ вчера. Стоя на мостикѣ, смотрѣлъ я на окружающее насъ море: оно шипѣло и, какъ будто, злилось на то, что встрѣчаетъ помѣху своему разгулу въ нашемъ кораблѣ, гордо разсѣкавшемъ его грудью, а оно за то, въ свою очередь, всѣми силами старалось завалить, забросать его громадою своихъ волнъ. Бѣшенно взлетали волны по бортамъ корабля и, разбившись о нихъ, устилали нашъ путь бѣлою, кипящею пѣной. Среди еловатавшей пучины качалась наша палуба, а на ней, между раскиданныхъ канатовъ и неубранныхъ парусовъ, сотни

людей, съ обнаженными головами, пѣли «Отче Нашъ». Никогда, быть можетъ, зрѣлище молящейся толпы не бываетъ величественнѣе, какъ въ минуты бури на морѣ; врядъ ли—когда либо молитва бываетъ искреннѣе...

Никогда еще не приводилось мнѣ видѣть бури въ океанѣ, и признаюсь, кажется, и страхъ немало дѣйствовалъ на мое вчерашнее расположеніе духа. Это былъ не страхъ труса, а страхъ, испытываемый человекомъ, который въ первый разъ понималъ все свое ничтожество передъ могуществомъ стихій.

— Настройся! прокричалъ стоявшій подлѣ меня вахтенный начальникъ.—Второй вахтѣ не раздѣваться, только безъ сапогъ спать.—За койками! вслѣдъ за тѣмъ скомандовалъ онъ.

Раздались десятки свистковъ: боцманы и унтеръ-офицеры передавали команду. Въ одно мгновеніе, брезенты были сняты съ сѣтокъ, а койки, на спинахъ своихъ собственниковъ, летѣли по трапамъ внизъ и развѣшивались. Не прошло и пяти минутъ, какъ вся вторая вахта безъ сапогъ качалась на своихъ подвѣшенныхъ койкахъ, а гардемарины, согнувшись въ три погибели, проползали подъ ними, осматривая: вездѣ ли, гдѣ слѣдуетъ, поставлены фонари, есть ли при нихъ сторожа и не слишкомъ ли громко толкуютъ между собою матросики, мѣшая другимъ спать.

Я такъ же улегся на своемъ второмъ этажѣ (спин-

ка каютнаго дивана, которая приподымалась и, вися на ремняхъ, прикрѣпленныхъ къ бимсамъ, служила мнѣ кроватью). Въ три четверти двѣнадцатаго вахтенный матросъ разбудилъ меня къ вахтѣ. Я вышелъ на палубу: не видно было ни зги.

Кое-какъ пробрался я, спотыкаясь, на заднія тали пухекъ до бака, и смѣнилъ моего товарища, который передалъ мнѣ команду высматривать на правой стороне красный огонь маяка и—какъ только онъ покажется—дать о томъ знать вахтенному начальнику и капитану.

— Кто впередъ смотритъ справа? крикнулъ я матросу, сидѣвшему на носу корабля.

«Есть!» отвѣчалъ мнѣ матросъ, котораго за темнотою не было видно.

— Да кто есть? продолжалъ я.

— Гавриловъ, отвѣчалъ голосъ.

— Огня не видать? спросилъ я.

— Какой лѣшій тутъ.... началъ было Гавриловъ, но я не разслыхалъ конца его отвѣта.

— Ну, смотри въ оба, да привяжи себя хорошенько! сказалъ я.

Это предостереженіе было не лишнимъ, такъ какъ насъ поминутно съ ногъ до головы обдавало волнами, а Гавриловъ, стоя на самомъ носу, иногда совсѣмъ уходилъ въ воду.

— Первая, вторая... слышалось мнѣ: это матросы,

сидя на корточкахъ вокругъ кадушки съ тлѣющимъ фитилемъ, высчитывали нырки корабля.

— Ребята! вотъ восьмая, а вотъ и старичекъ идетъ! говорили они, чувствуя по движенію корабля, что идетъ девятый валъ.

— Эхъ дура, огонь въ трубкѣ потушила! проговорилъ грубый голосъ, сердясь на волну, брызги которой обдали его съ ногъ до головы.

— А! Авдѣевъ, это ты? крикнулъ я, узнавъ его по голосу.

Авдѣевъ—старый морякъ изъ Черноморцевъ. У насъ онъ—боцманомъ второй вахты, и всѣ матросы его любили, не смотря на то, что онъ ихъ иногда и бьетъ въ сердцахъ, и ругаетъ какъ только матросъ умѣетъ ругать; но за то онъ справедливъ на службѣ и знаетъ лихо свое дѣло.

— Я, ваше благородіе, отвѣчалъ онъ мнѣ.

— Что ты не отойдешь отъ носа? Ты, чай, довольно таки намокъ?

— Да я, ваше благородіе, новичковъ учу. Вѣдь, нужно имъ къ мокротѣ-то пріучаться. Не сахарные! Андрюшка-то нашъ зонтика сталъ искать; да, вѣрно, куды нибудь заложилъ его,—не находитъ!..

Послышался смѣхъ.

— Чего зубы оскалили? проговорилъ Авдѣевъ. — Развѣ молоденькими такъ же не хныкали?

Андрюшка — матросъ у меня на формарсѣ. Онъ

въ первый разъ на кораблѣ, и такъ всего боится, что когда ему случается быть на опасномъ мѣстѣ, то онъ, потерявъ голову и цѣпляясь руками за первую попавшуюся снасть, рыдаетъ, какъ ребенокъ при видѣ обѣщанныхъ розогъ.

Авдѣевъ часто надъ нимъ подтруниваетъ самъ, но всегда защищаетъ отъ насмѣшекъ другихъ матросовъ.

Я нѣсколько разъ это замѣчалъ и однажды спросилъ Авдѣева: «Да ты самъ-то зачѣмъ надъ нимъ трунишь?»

— Не замай его, ваше благородіе, отвѣтилъ онъ мнѣ,—свызнется, коли такъ-то поживетъ; я самъ былъ таковской курицей.

(Отвѣтъ этотъ мнѣ ничего не разъяснилъ, но мнѣ казалось, что у Авдѣева въ головѣ сложился планъ педагогическаго образа дѣйствій относительно Андрюшки, и я уже далѣе его объ этомъ не спрашивалъ.

Раздался свистъ на шканцахъ; всѣ стали прислушиваться.

— Штурмовые паруса заготовить! была команда.

Авдѣевъ нарядилъ нѣсколько матросовъ въ парусную и сталъ съ другими матросами заготавливать снасти. Я слѣдилъ за приготовленіями, и когда они были окончены—извѣстилъ о томъ старшаго офицера, сдѣлавшаго это распоряженіе.

Но онъ, вѣроятно, раздумалъ, потому что мы долго стояли, не получая никакихъ дальнѣйшихъ приказаній.

Корабль шелъ узловъ 13; нырки дѣлались все глубже и глубже; промочнувъ насевозъ, стоялъ я, опершись на ванты, волнуясь при мысли, что вотъ наконецъ-то я увижу настоящую бурю въ океанѣ, бурю, о которой столь часто мечталъ.

Ко мнѣ подошелъ Авдѣевъ.

— Ваше благородіе, къ вамъ просьбица есть.

— Что такое? спросилъ я.

— Да я слышалъ: вы за Петрова изволили писульку къ роднымъ его написать, такъ и я хотѣлъ васъ попросить для меня махонькую вѣсточку къ сестрѣ настрочить.

«Нашелъ время просить», подумалъ я, однакожъ общалъ исполнить его просьбу и спросилъ его: о чемъ именно писать.

— Да, ваше благородіе, знамо, наши письма не хитры. Поклоны всѣмъ знакомымъ, да рублика три крестнику.

— А ты какой губерніи? спросилъ я.

— Калужской.

— Большой семьи?

— Была-то большая, да вымерла: одна сестра, да крестникъ остались.

— А крестникъ твой, сынъ что ли сестры?

— Нѣтъ, онъ, значить, мнѣ по брату племянникомъ приходится.

Мнѣ давно нравился Авдѣевъ. Не высокаго роста,

худощавый, и съ такимъ лицомъ, какое можетъ быть только у русскаго мужика: всего больше поражали въ немъ глаза—чисто голубые, съ такимъ мягкимъ выраженіемъ, что, глядя на нихъ, каждый удивлялся: какъ это они попали въ его загорѣлое, грубое лицо, украшенное курчавыми, сухими, сѣдыми волосами. Я былъ радъ случаю узнать его покороче и сталъ разспрашивать:

— Который годъ твоему крестнику?

— Двадцать восьмой годовъ пошелъ.

— Онъ развѣ не женатъ?

— Нѣтъ, ваше благородіе! Пишетъ онъ мнѣ, что не хочетъ, дескать, глупостью этой заниматься. Ужь я ему писалъ, писалъ, а онъ все на своемъ стоитъ.

— А ты самъ женатъ?

— Хотѣлъ было развѣ, да закаялся.

— Какъ такъ?

— Да что бывое вспоминать, не воротишь, только себя растрaviшь, отвѣтилъ онъ мнѣ.

Тутъ раздался опять свистокъ—громкій, протяжный; позвучавъ квинтою, спустился онъ снова на первоначальный тонъ и, все слабѣя и слабѣя, замеръ.

— Пошелъ... всѣ... на верхъ, марселя убирать, штурмовые паруса ставить! кричалъ каждый унтеръ-офицеръ у своего люка.

Авдѣевъ такъ же просвисталъ и прокричалъ. Такіе же свистки и крики слышались въ батарейной и въ

жилой палубѣ. Матросы стали высыпать изъ люковъ и стояли, ожидая команды.

— По марсамъ и салингамъ! скомандоваль старшій офицеръ.

И сотни людей, безъ тѣни боязни, бросились по вантамъ, взбираясь на верхъ мачты исполнять каждый свою обязанность, какъ будто это было самое простое дѣло. Я самъ сталь* взбираться на свое мѣсто, на формарсъ, и, слыша шутокъ бѣгущихъ передо мною матросовъ, подумаль о томъ, что одинъ невѣрный шагъ или одна лопнувшая снасть могли стоить жизни этимъ смѣющимся людямъ.

Ванты то натягивались какъ струны, то обвисали, смотря по тому, на какой бокъ клонился корабль. Надо было крѣпко держаться за сезни, чтобы не быть отброшеннымъ, какъ мячикъ въ море. Молнія, давно уже разсѣкавшая небо, озаряла окрестность. При ослѣпительномъ свѣтѣ ея, становившемся все болѣе и болѣе продолжительнымъ, намъ хорошо было видно все, что дѣлалось на палубѣ и на другихъ марсахъ.

— И-и-забушевало!... говорилъ съ укоризною одинъ изъ матросовъ, какъ будто бы вѣтеръ, разгуливая такимъ образомъ, наносилъ ему личную обиду.

— Ну, братцы, лиминація-то какова, лиминація! А все даромъ—гроша не стоитъ, шутилъ другой.

— Что тебѣ качели! трунилъ третій, говоря о гро-

*

мадныхъ размахяхъ, которые мы всё дѣлали на верху мачты.

Спустившись на палубу, я сталъ опять на свое мѣсто у вантъ, откуда мнѣ можно было смотрѣть впередъ. Послѣдніе слова Авдѣева сильно заинтересовали меня; я подозвалъ его къ себѣ.

— Что, Авдѣевъ, буря-то, кажется, все усиливается?

— Погодка славная, ваше благородіе! Благо, что тепло.

— А хотѣлось бы тебѣ быть теперь на берегу? спросилъ я, чтобъ имѣть предлогъ разспрашивать его далѣе.

— Знамо дѣло, легче было бы. Да ну ее, къ черту! Вѣдь, два раза въ безсрочные отпускали, да не захотѣлось. Что капусту садить, да за бороной ходить? То ли дѣло наше, разгулъ—да и только! Вотъ, хоть сегодня, примѣромъ, все нутро подергиваетъ. Важно!... Коли бы семья была, вѣстимо, другое дѣло. Да, видно, ужъ суждено мнѣ бобылемъ вѣкъ свѣковать.

— Зачѣмъ же ты не женился?

— Близокъ локоть, а зубъ нейметъ! чай, знаете пословицу, ваше благородіе? Не пришлось, значить.

— Какъ таеъ?

— На что вамъ про чужое горе знать, да и на что оно вамъ?

— А тебѣ какое дѣло, что Андрюшку затрогиваютъ матросы?

— Знать, приглянулся онъ мнѣ.

— А ну, если ты мнѣ приглянулся, такъ какже мнѣ о тебѣ не спросить?

Авдѣевъ не отвѣчалъ.

— Ну, тряхни стариной, Расскажи-ка мнѣ. Вѣдь, теперь рассказать-то не трудно.

— Вѣстимо, теперь не трудно, а тогда-то каково было!... не приведи Господи!

— Вишь, баринъ, началъ онъ, жили мы — отецъ, сестра, братъ да я, какъ у Христа за пазухой; и хлѣба было, и скотинка водилась. Когда старуха-мать померла, я еще въ тѣ поры молодъ былъ. Вотъ вздумалъ отецъ меня, какъ старшаго, поженить. Ну, знамо, отцовское дѣло. Приглянулась мнѣ дѣвка тутъ, здоровая такая, сосѣда нашего дочка. Я къ отцу, да въ ноги. Коли, молъ, женить хочешь, такъ ужъ жени на Аксиньѣ, другой не возьму. Отецъ мой, царство ему небесное, нида до слезъ обрадовался. Пошелъ къ сосѣду, ну, и сваталъ за меня Аксинью. То-то я радъ былъ! Души не чаялъ, глядѣлъ все на нее, да не наглядывался. Эхъ, роскошь-то баба была какая! А она, ваше благородіе, что-то со мной больно тиха была; бывало, поцѣлую, зардѣется,—а сама николи не поцѣлуешь. Ну, думалъ я себѣ, дѣвичье дѣло, не принуждай ее; свыкнется—слюбится. Сталъ же я за ней ухаживать... Платковъ однихъ сколько надарилъ, на тройкахъ каталъ, въ городъ за тридцать верстъ по

ночамъ за гостинцами ей хаживалъ—ничего не брало! противенъ что ли я ей былъ, али замужъ ей не хотѣлось? Богъ ее вѣдаетъ! а все перемѣны не было въ ней...

— Тутъ некручина подошла: Василью брату жеребій палъ. Ну, горе всему дому пришлось. Отецъ всего пуще убивался; любимый сынъ, знать, у него Василій-то былъ. Просто, страхъ, какъ убивался... Что грѣха таить? я-то радъ былъ; все думалось мнѣ, что Аксинья на Васютку больно смотреть. Зависть брала... Разъ, вечеромъ, пошелъ я лычковъ въ лѣсу понадрать. Иду я, этакъ шагкомъ, да думаю про себя, какъ бы свадьбу поскорѣе сыграть, кого въ посаженные выбрать,—извѣстно, о чемъ суженные передъ свадьбой думаютъ. Вдругъ...—Авдѣевъ остановился и потомъ скороговоркою прибавилъ: — вижу я, ваше благородіе, подъ березой Аксинья и парень какой-то... Она обвила его руками такъ, что не виденъ онъ былъ мнѣ, и цѣловала его, и плакала и смѣялась. Я стоялъ, да не могъ ничего въ толкъ взять... Они не видѣли меня. Вдругъ, такая злость напала на меня, что въ глазахъ потемнѣло, бросился я на нихъ и взмахнулъ топоромъ... да руки опустились. Парень-то этотъ былъ — Василій. Бинулъ я топоръ, да давай Богъ ноги. Бѣжалъ я, бѣжалъ, точно шальной какой, всего пугался, потомъ упалъ, да такъ и пролежалъ въ полѣ до разсвѣта. Значить, ужъ больно скрутило меня *это*... Утромъ, по-

думавши, да раздумавши, пошелъ я, да въ некруты и записался, вмѣсто брата...

Авдѣевъ остановился.

Молнія, сверкая, озаряла его лицо. Видно было въ эти мгновенія, что онъ и теперь переживалъ еще тѣ жуткія, тяжелыя минуты, о которыхъ рассказывалъ. Рассказывалъ онъ просто, отъ времени до времени останавливаясь, утирая рукавомъ съ лица брызги волнъ. А въ тихомъ, глубокомъ голосѣ его слышно было: сколько сдержаннаго горя еще таилось въ его душѣ.

Я былъ пораженъ такимъ величіемъ самоотверженія въ этомъ грубомъ, ежеминутно ругающемся матросѣ. До сихъ поръ приходилось мнѣ видѣть у русскаго мужика примѣры самоотверженія, лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло шло о жизни или потерѣ какой нибудь собственности. Чтобы мужикъ, любящій всей силой своей неспорченной природы, могъ принести въ жертву и свою любовь и свою жизнь для счастья той, которая его отвергала,—мнѣ это казалось такъ неестественно великимъ, что я въ изумленіи взглянулъ на Авдѣева.

— Огонь виденъ, ваше благородіе! вдругъ сказалъ онъ.

— Гдѣ? спросилъ я.

— Справа. На усы смотрите—этакъ аршина на два отъ носа.

Вглядываясь въ темноту, я не скоро увидѣлъ огонь,—а, увидавъ, далъ знать о томъ капитану.

— А славные глаза у тебя, Авдѣевъ! сказалъ я ему.—Какъ это ты увидалъ раньше меня? я то же, вѣдь, смотрѣлъ, не забывалъ.

— Привычка, ваше благородіе.

— Огонь видать! слышался голосъ съ носа.

— Безъ тебя знаемъ!—отделившись Авдѣевъ,—ты бы завтра сказалъ, а то что такъ больно рано?—прибавилъ онъ съ усмѣшкой.

— Ну, Авдѣевъ, расскажи-ка мнѣ: на свадьбѣ-то ты у брата былъ? Чай, братъ-то, благодарилъ за то, что ты невѣсту ему уступилъ?

— Эхъ, баринъ, что вамъ рассказывать? да коли ваша на то воля,—пожалуй доскажу.

— Пришелъ я, такъ утромъ, домой, только одинъ работникъ дома былъ,—всѣ, вишь, меня искать пошли. Братъ Василій первый воротился. Пришелъ, да бухъ мнѣ въ ноги, и плачетъ самъ. Прости, говоритъ, больно ужъ Аесинья мнѣ по сердцу пришлась. Убей Богъ! коли чего дурнаго я желалъ, а такъ только проститься съ ней ходилъ.—Чтожъ! поднялъ я его, ну и сказалъ: Ты, братъ, оставайся-ка дома и женись на ней, а ужъ въ некруты-то пойду я за тебя...

— Радость была такая, какой я никогда и не видывалъ. Всѣ они меня «голубчикомъ, спасителемъ» называли, ноги мнѣ цѣловали. Скоро свадьбу сыгнали,

и я кольца имъ свои припасенныя, золоченыя, — подарилъ. Жилъ я съ ними мѣсяца два или три, начальство все не звало; вижу, Акинья вся переѣбилась, грустная таяла, мужа слушаетъ, а никогда не приласкаетъ; на меня все смотрѣла, да опять дичиться стала. Богъ ее вѣдаетъ! знать, азартный характеръ такой у нея былъ. А Василій братъ, съ горя-то, что жена разлюбила—пить зачалъ. Отецъ хмурился на невестку, хмурился, а ей—ни слова. Она что-то хворать стала, исхудала, бѣдняжка,—все на сердце жаловалась; даже, со стороны гляючи, жалѣли. Коли спрашивали ее о чемъ,—не отвѣчала. Видно, блажь такая на нее нашла... Сталъ я въ путь собираться; ну, проводы деревенскіе, знамо, какіе бывають; собралась, безъ малаго, вся деревня; вой такой подняли, точно самихъ рѣжутъ. Горько и мнѣ было, ужъ такъ-то горько, а все таки крѣпился. Шкаликъ выпилъ для пущей храбрости...

— До околицы вся толпа провожала. Тутъ остановились прощаться. Отецъ рыдалъ, словно ребенокъ малый. Благословилъ онъ меня на службу царскую; поцѣловалъ я его на-последокъ, да къ Акинѣй подошелъ. Эхъ, сердце! Такъ оно въ груди и надрывалось, какъ я ее обнялъ, точно въ немъ ножомъ кто сверлилъ! Она холодная такая была, ни слезинки на глазахъ. Обняла меня, а рученьки у самой, словно, ледяныя... посмотрѣла... хотѣла было что-то сказать,

да пошатнулась, пошатнулась и упала... Губы посинѣли, все тѣло вздрагивало—рученьками сердце все подерживала, ровно, оно на волю выпрашивалось; о землю стала биться, подняли мы ее... Гляды! Мертвая!...

Вдругъ около насъ съ Авдѣевымъ въ ту минуту раздался свистъ, да таково громко, что оба мы вздрогнули: «По мѣстамъ! поворотъ...!» командовалъ вахтенный начальникъ, и мы разошлись.

Только поздно утромъ удалось мнѣ сойти къ себѣ въ каюту; всю ночь пришлось поработать надъ перешибленнымъ бому^легеромъ.

Ложась спать, думалъ я про себя еще вчера, да и теперь о томъ часто же себя спрашиваю: понялъ ли Авдѣевъ, что убило Аксинью?

III.

СТЕПА СИБИРСКИЙ.

Самара, 6 августа 1866.

Вернулся я сегодня из Сибирска. Страшный видъ представляетъ теперь городъ. Огромные каменные дома стоятъ безъ крышъ, обезображенные пожаромъ. Большія пространства еще завалены углемъ и обгорѣвшими бревнами, а изъ среды ихъ уже поднимаются свѣженькіе, новенькіе домики, напоминающіе собою новыя гробницы на старомъ кладбищѣ.

При видѣ полуобновленія Сибирска, я вспомнилъ о пожарѣ, котораго былъ свидѣтелемъ, — о пожарѣ, превратившемъ такъ быстро одинъ изъ лучшихъ и самыхъ красивыхъ городовъ русскихъ въ дымное пепелище. Вспомнилъ я ужасъ, испытанный мною во время этого бѣдствія, и ужасъ всѣхъ тѣхъ, которые отъ него страдали. Нельзя было смотрѣть безъ трепета на широкую огненную рѣку, бѣжавшую съ неимоверной быстротой по скату горы, уничтожая все, что ей по-

падалось на пути—дома, амбары, лавочки, сады, церкви, даже баржи, стоявшія у берега Волги. А въ самой Волгѣ, тысячи народу столпились въ водѣ, и стояли по цѣлымъ часамъ, спасаясь отъ жара и дыма.

Много времени прошло съ тѣхъ поръ, но мнѣ еще, какъ будто, слышны крики и вопли, оглашавшіе тогда воздухъ. Къ воплямъ отчаянія присоединялись крики неистовой ярости: въ толпѣ носились слухи о поджигателяхъ... Помню я смерть одного изъ нихъ. Она была ужасна. Но я помню, что состраданія ощутилъ мало къ этому несчастному, въ виду того общественнаго горя, котораго онъ былъ причиною.

Шелъ я по улицѣ и издали увидѣлъ солдата, который мазалъ чѣмъ-то стѣну одного дома. На стѣнѣ показался огонекъ, и въ одно мгновеніе весь деревянный домикъ охватило пламенемъ.

Я пустился въ огонь за солдатомъ, но онъ успѣлъ скрыться—и я побѣжалъ къ домику, помогать тушить огонь.

Изъ домика выскакивали уже бабы, съ грудными дѣтьми на рукахъ, длиннополые торговцы съ сундуками и иконами. Плачь женщинъ и дѣтей, крикъ мужчинъ, звавшихъ на помощь, скоро огласили всю улицу. Около домика собралась толпа желавшихъ тушить пожаръ, но приступить къ огню не было возможности. Онъ быстро дошелъ по деревянному забору до слѣдующаго дома, и тотъ вспыхнулъ, какъ солома, такъ же нама-

занный, видно, заранее какимъ нибудь горючимъ веществомъ. При видѣ этого, въ толпѣ, стоявшей посреди улицы, раздался гулъ ропота.

— Нехристи, что дѣлають! Окаянные! у самихъ-то бревна нѣтъ, такъ и другихъ надо извѣсть!.. Имъ, убійцамъ, краснымъ желѣзомъ слѣдовало бы сердце-то выжечь! гудѣло въ народѣ.

— О-о-охъ! стонала старушка: икона, иконушка-то моя сгорѣла! Пресвятая Богородица, прости ты меня, что не вынесла: сама-та едва не задохлась!

Говоръ, вой, крики мгновенно прекратились: толпа народа онѣмѣла въ ужасѣ недоумѣнія: предъ нею, вдоль улицы змѣю пробѣжалъ огонекъ: взвиваясь то на одну стѣну, то перескакивая по землѣ на другой домъ, онъ зажигалъ ставни, взбѣгалъ на крыши, охватывалъ строенія, вздымая черные, густые клубы дыма *)... Тутъ я увидѣлъ снова солдата, поджигавшаго первый, уже сгорѣвшій, домикъ. Солдатъ стоялъ и, видимо, любовался на дѣло рукъ своихъ.

— Ребята! крикнулъ я. — Вонъ онъ—поджигатель, держите его!

— Мерзавецъ! разбойникъ! чортъ! слышалась руготня.

*) Явленіе это повторилось на многихъ улицахъ. По землѣ протянуты были дорожки, настроченныя порохомъ, которые переносили огонь съ одного зданія на другое.

Солдатъ, думая укрыться, пустился, было, бѣжать, но его схватили. Повернувшись къ толпѣ, онъ хотѣлъ, было, выстрѣлить въ упоръ, но сотни рукъ повалили его на землю. Изъ кармановъ шинели его толпа вытащила дюжины двѣ яицъ, начиненныхъ порохомъ, а изъ-подъ солдатской шинели показалась модная жилетка, съ золотою цѣпочкою часовъ.

— Полякъ, полякъ! загудѣлъ народъ. — Въ огонь его! Въ огонь! загремѣла изступленная и объятая бѣшенствомъ толпа.

На рукахъ раскачала она поджигателя и со всего размаха швырнула его въ самую средину пылавшаго и обваливавшагося дома. Раздался страшный крикъ, а за нимъ наступила минута еще болѣе страшнаго безмолвія и оцѣпенѣнія.

Очнувшись, толпа принялась кидать въ огонь яйца, найденныя въ карманѣ шинели, и они разрывались съ шумомъ и трескомъ, какъ будто салютовали смерть злодѣя.

— Пусть его изжарится, попробуетъ каково! вопили несчастные и ожесточенные жители.

— Господи! кричали бабы. — Волоса на головѣ горятъ!

— Хай-да! къ рѣкѣ! закричалъ народъ.

И вся толпа, задыхаясь отъ пламени, бросилась по всѣмъ направленіямъ внизъ по крутой горѣ, перегоняя огонь, который, будто тѣшась, высовывалъ то съ той,

то съ другой стороны свои красные языки, захватывая обжавшихъ и выбивающихся изъ силъ бѣдняковъ и превращая ихъ въ обгорѣлые, искаженные трупы... Такія отчаянныя толпы бѣжали со всѣхъ концовъ города, спотыкаясь, падая, погибая въ колодцахъ и рывинахъ. Все это стремилось къ Волгѣ, и бросалось въ воду, спѣша освѣжить обожженные руки и ноги. Никто не находилъ своихъ: всѣ кричали, плакали, звали по именамъ своихъ ближнихъ—братьевъ, сестеръ, женъ, родителей, не зная: живы ли они, спаслись ли, или уже превратились въ черный пепель.

Я стоялъ тоже въ водѣ, радуясь своему спасенію и осматриваясь съ стѣсненнымъ сердцемъ на окружавшее меня населеніе, вопли котораго раздирали сердце.

— Баринъ, помоги! раздавался вдругъ сзади меня голосъ.

Я обернулся и увидѣлъ парня, лѣтъ 24-хъ, державшаго дѣвушку, перекинутую черезъ плечо. Дѣвушка висѣла у него черезъ плечо головою внизъ. Опаленные ея волосы свѣшивались внизъ густыми прядями. Парень шатался подъ своей ношей; на мѣстѣ волосъ, бровей и бороды, чернѣли у него пятна; на лѣвой рукѣ, сквозь прогорѣлый рукавъ рубахи, виднѣлась большая рана отъ обжога. Правой рукой онъ придерживалъ дѣвушку за ноги.

Я помогъ ему найти мѣсто и, сложивъ дѣвушку на стоявшій невдалекѣ плотъ, принялся обмывать ея за-

копѣлое отъ дыма лицо. Она все еще лежала безъ чувствъ. Парень глядѣлъ то на меня, то на нее, испуганными и изстуженными глазами.

— Окунись ты въ воду! Это тебя освѣжить, сказалъ я ему.

Вмѣсто отвѣта онъ зарыдалъ, все смотря на дѣвушку. Я подошелъ и, насильно нагнувъ его къ водѣ, заставилъ его окунуться.

— Спасибо, баринъ, сказалъ онъ мнѣ. — Больно ужъ захватило. Ишь какъ разыгралось! продолжалъ онъ, указывая головой на влохотавшее предъ нами море огня, и не спуская глазъ съ дѣвушки, лежавшей на плоту по прежнему безъ чувствъ. — Сперло, значитъ, али померла? спросилъ онъ кротно.

— Погоди, очнется, отвѣчалъ я ему, примачивая дѣвушкѣ виски.

— Еле-еле донесъ... сказалъ онъ и началъ креститься.

— Что-она, сестра тебѣ? полюбопытствовалъ я.

— Суженой моей она сестра, отвѣчалъ парень.

— А суженая твоя гдѣ? опять спросилъ я.

— Богъ ее вѣдаетъ, чай спаслась, въ хатѣ не было...

Дѣвушка начала оживать. Вздохнувъ нѣсколько разъ, она вскинула глаза, обвела взглядомъ окружающихъ и принялась креститься, приговаривая: «Спаси, Господи, спаси Господи!».

Увидѣвъ парня, она удивилась и спросила его:

— Стёпа, ты какъ тутъ?

— На своихъ пришелъ! отвѣчалъ парень, улыбаясь, забывъ и страхъ свой, и обгорѣлую руку, отъ радости, что увидѣлъ ее въ живыхъ.

— А я какъ тутъ? опять спросила дѣвушка.

Парень не отвѣчалъ.

— Сестра-то твоя гдѣ? спросилъ онъ у нея.

— Въ хатѣ осталась: въ печь съ мамой залѣзли, а меня не пустили, для меня тамъ мѣста нѣтути — сказывали...

— Ишь, окаянныя! проговорилъ парень. — Добро еще, что я-то по близости былъ, а то и ты бы тамъ испеклась *). Эхъ, Маня! больно ужъ я радъ, какъ на тебя погляжу, продолжалъ онъ. — Тебя бы за меня выдали, то-то бы счастье было! говорилъ онъ, глядя ее по волосамъ и распутывая ихъ одной рукой.

Маня зардѣлась и отвернулась, стыдась смотрѣть на него.

Я любовался ими обоими и дивился тому, что они, забывъ о моемъ присутствіи, забывъ весь свѣтъ, обгорѣлые, покрытые грязью и стоя по грудь въ водѣ,

*) Розыскивая послѣ пожара пропавшихъ, нашли многихъ изъ окователей въ печахъ, совершенно испепелившимися. Въ испугѣ, не зная куда дѣваться, несчастные искали въ печахъ вѣрнаго убѣжища.

только радовались другъ на друга и перешептывались, улыбаясь.

Маня вдругъ опомнилась:

— Эхъ, Стёпа, сказала она, мама-то, мама-то какъ бы не сгорѣла!

Парень промолчалъ и только смотрѣлъ на нее.

Я не хотѣлъ мѣшать и, увидѣвъ издали знакомаго, оставилъ ихъ

Мѣсяца три спустя, встрѣтилъ я случайно того самого парня, котораго видѣлъ съ Маней на симбирскомъ пожарѣ. Встрѣча была самая неожиданная.

На станціи Г., верстахъ въ 60 отъ Самары, подали мнѣ славную тройку почтовыхъ. Два молодца держали ее подъ уздцы у крылечка станціи, въ ожиданіи ямщика, который подтягивалъ кушакъ. Усѣвшись въ широкіи розвальни, я обратился къ ямщику съ вѣчнымъ вопросомъ, хорошо знакомымъ всякому, кто имѣлъ несчастіе ѣздить по нашимъ почтовымъ и проселочнымъ дорогамъ:

— Хорошо ли поѣдешь, братъ? поѣдешь хорошо— на водку получишь.

Ямщикъ мой, молча перекрестившись, вскочилъ на облучекъ, и тройка рванула съ мѣста. Проѣхавъ верстъ пять шибкою рысью, мы стали подниматься на крутую гору. Ямщикъ сошелъ съ козелъ, и сталъ взбираться пѣшкомъ, придерживая возжи. Тутъ я увидѣлъ его въ лицо и, къ удивленію своему, узналъ въ

немъ того симбирскаго парня, котораго Маня называла Стёпой.

— Ямщикъ! крикнулъ я, али не узнаешь меня?

Ямщикъ обернулся, поглядѣлъ и, снявъ шапку, подошелъ ко мнѣ.

— Въ шубѣ-то не распозналъ васъ, ваше благородіе, молвилъ онъ.

— Какъ ты сюда попалъ? сталъ я его спрашивать.

— Въ работникахъ живу, отвѣчалъ онъ мнѣ.

— Что жъ ты такъ далеко нанялся? Ты, вѣдь, симбирскій.

— Симбирскій, ваше благородіе, подъ самымъ Симбирскомъ жилъ.

— Что жъ ты тамъ не остался? чай, работы тамъ вдоволь, спросилъ я опять.

Ямщикъ промолчалъ и шелъ подлѣ саней, потупивъ голову и разбивая кнутомъ снѣжные бугорки по дорогѣ. Мы проѣхали такъ нѣсколько шаговъ.

— А что, ты—женатъ? освѣдомился я.

— Нѣтъ, ваше благородіе? суженая моя съ матерью сгорѣла въ тотъ самый день, въ кой я съ вами встрѣтился.

— А Маня? спросилъ я.

— Маня-то жива.

— Отчего же ты ее въ хозяйки не берешь? продолжалъ я его спрашивать.

*

— Эхъ, баринъ, виденъ локоть, да зубъ нейметъ...

— Что жъ? не милъ ты ей что ли былъ?

— Нѣтъ, баринъ, душу за меня она отдала бы. Да мать-то ея, еще въ живыхъ, говаривала, да наказывала, чтобъ она за меня не выходила, изъ злости что ли па меня, а Маня-то, по смерти матери, о свадьбѣ нашей и слышать не хотѣла; говоритъ, что замужъ на несчастье не пойдетъ, что меня же сокрушать не хочетъ.

— Блажь такая! прибавилъ онъ, помолчавъ немного.

— Чтожъ, ты не уговаривалъ ее? спросилъ я его.

— Коли не уговаривалъ? и отца-то Василья, нашинскаго священника къ ней, подсылалъ уговаривать, да ничего не беретъ, время — дѣвка, да и только! Коли бы не любила меня, то бы легче было; а то она, вѣдь, любитъ меня, бѣдняга, да сама себя наказываетъ. Намеднись боленъ я былъ, такъ она, узнавши, 300 слишкомъ верстъ пѣшкомъ прошла, меня навѣститиъ.

— Вотъ и живу я тутъ, баринъ, отъ грѣха-то подалее. Эхъ, ужъ видно не передѣлать мнѣ участь горькую!

Онъ глубоко вздохнулъ и, тряхнувъ головой, вскочилъ на облучекъ, махнувъ высоко кнutomъ. Мы снова полетѣли по гладко укатанной дорогѣ.

Мигомъ доѣхали мы до станціи. Подозвавъ ям-

щика, который водилъ запыхавшихся лошадей, я далъ ему синенькую бумажку на покупке подарка для Мани.

— Нѣтъ, баринъ, сказалъ онъ, не принимая ассигнаціи: не возьметъ она отъ меня ничего. Намеднись шугайку ей купилъ, и ту не взяла.

— Ну, такъ передай ей, что это—отъ меня, сказалъ я, насильно всовывая ему бумажку въ руку; тогда не зачѣмъ ей будетъ отказываться. Чай не забыла она меня?

Ямщикъ поклонился въ поясъ. Тутъ мы разстались. Больше никогда я не видалъ Степана, но часто вспоминаю я о немъ и о его поговорѣхъ: «Эхъ, баринъ, видень локоть, да зубъ неймѣтъ».

IV.

ЖУМУШКА.

Самара, 2 іюня, 1866.

Всталъ я сегодня рано и поѣхалъ осмотрѣть яровныя. Любо было глядѣть на зеленую ниву, раскинутую до самой линіи горизонта, гдѣ краски ея сливались съ голубымъ свѣтомъ неба. При тихомъ вѣтрѣ всходы колыхались, а поле мѣстами дѣлалось то темно-синимъ, то голубымъ, то опять свѣтло-зеленымъ; какъ будто бы вѣтеръ заигрывалъ съ полемъ, а поле, словно, тѣшилось этою игрою. Ъхалъ я на буромъ лихачѣ. Славная лошадь—этотъ лихачъ, и выносить на диво! Заѣхалъ я на мельницу, посмотрѣть работу. Старикъ Кудрясовъ, мельникъ, встрѣтилъ меня.

— Добро пожаловать, баринъ! сказалъ онъ. — Работа, слава Богу, идетъ, да водой не уберемся, въ восемь вершковъ идетъ.

— Ну, а помолъ есть?

— Точно, Москва молоть пришла.

— Что ты сегодня такой нарядный, Кудрясовъ: али именинникъ.

— Нѣтъ, баринъ, только что къ вамъ собирался идти.

— Какое дѣло есть?

— Я хотѣлъ бы васъ попросить внушку окрестить у меня.

Терпѣть не могу я крестить, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ чуть не уронилъ вертлявую, склизкую дѣвочку, дочь моего кучера Евдокима, но отказать Кудрясову не хотѣлось.

— Пожалуй, окрещу, но это только ради тебя Кудрясовъ; у кого другаго ни за что бы не сталъ.

— Покорнѣйше васъ благодарю, баринъ, вѣкъ этого не забуду.

— Когда же крестины? спросилъ я его.

— Часа въ два, какъ батька отобѣдаетъ, я за вами самъ зайду, отвѣчалъ онъ.

Не знаю отчего — Кудрясова не любятъ: конторщикъ на него жалуется, ключникъ называетъ воромъ. Мнѣ же онъ нравится: мельникъ онъ — акуратный, дѣло свое знаетъ очень хорошо, а мнѣ больше ничего и не нужно. Особенно понравился онъ мнѣ послѣ моего разговора съ нимъ вслѣдъ за крестинами. Я для памяти тутъ запишу все это.

Священникъ, вѣроятно, долго и плотно обѣдалъ, такъ какъ Кудрясовъ зашелъ за мной только въ три

часа. А самъ священникъ тяжело двигался и имѣлъ какой-то непріятный, сытый видъ.

Въ жилой избѣ, при мельницѣ, было уже довольно много народа, когда я вошелъ. У Кудрясова—большая семья, и она вся собралась на крестины.

Крестили внучку его, дочь старшаго сына его, Никиты. Долго ожидалъ старикъ отъ него дѣтей, и наконецъ дождался. На всѣхъ лицахъ виднѣлась радость по случаю счастливаго событія. Особенно былъ веселъ Кудрясовъ. Онъ какъ будто помолодѣлъ, въ первый разъ сдѣлавшись дѣдушкой. Говоря о внучкѣ, пищавшей за перегородкою, онъ крестился, приговаривая: «На то Святая Его воля. Осчастливилъ Онъ меня, старика, на остальные дни!» и поминутно уходилъ за перегородку, желая убѣдиться: дѣйствительно ли дышитъ это маленькое, едва народившееся существо.

Бабка съ повязаннымъ на головѣ краснымъ платкомъ и примаслянными волосами хлопотливо приготовляла простыньки, рубашонку, платки и т. д., умильно поглядывая на рисовый съ изюмомъ пирогъ, нарочно ею ради этого случая приготовленный. Этому пирогу суждено было играть ту же роль, какую у насъ играть на крестинахъ бутылка шампанскаго.

Остальные лица, собравшіяся въ комнатѣ, за исключеніемъ духовенства, были племянники, племянницы и другіе родственники Кудрясова.

Священникъ, отдохнувъ нѣсколько отъ своего обѣда, приподнялся, чтобы начинать службу.

— А гдѣ же крестная мать? спросилъ я, не зная еще: съ кѣмъ буду крестить.

— Съ крестницей сидитъ: сейчасъ выйдетъ! отвѣчалъ мнѣ Кудрясовъ.

Въ дверяхъ показалась моя кума, съ ребенкомъ на рукахъ. Крестною матерью ребенка была дѣвушка лѣтъ двадцати. Невысокаго роста и плотно сложенная, она ничѣмъ не отличалась, повидимому, отъ другихъ крестьянскихъ дѣвушекъ; лишь взглядъ ея удивлялъ васъ невольно. Я тотчасъ замѣтилъ, что у нея была привычка, поднимать высоко вѣки, и глаза ея свѣтились тогда такимъ добрымъ свѣтомъ, что на сердцѣ отъ того тепло становилось.

Я спросилъ у Кудрясова—это моя кума, чья она дочь?

— Она, баринъ, найденнышъ: годковъ тому двадцать ѣздилъ я въ Борей, да и нашелъ ее въ лукошѣ у нашей околицы. Вишь, здоровая какая выросла! прибавилъ онъ.

Служба началась.

Ребенокъ сильно кричалъ съ начала, но затѣмъ, какъ будто разсудивъ, что ему нечѣмъ помочь своему горю, заложивъ себѣ три пальчика въ ротъ, сталъ, молча, размышлять о суетѣ мірской.

Дѣячки подтягивали неимоვნно фальшиво.

Во время троекратаго хожденія вокругъ купели, я еще разъ взглянулъ на мою куму: она шла блѣдная, какъ смерть, и дрожала всѣмъ тѣломъ. Я испугался, думая, что у нея вдругъ что нибудь заболѣло, что она можетъ уронить ребенка, и сталъ ее поддерживать. Она не обратила на это вниманія и шла, понуривъ голову и всматриваясь въ ребенка, лежащаго у нея на рукахъ. Вернувшись на мѣсто, кума моя отдала ребенка бабушкѣ, а сама упала на колѣна и вдругъ такъ громко зарыдала, что священникъ остановился посреди молитвы, а всѣ присутствующіе въ недоумѣніи стали переглядываться.

«Что это съ ней?» подумалъ я.

Кума, однакожъ, скоро оправилась и, приподнявшись, боязливо посмотрѣла на Кудрясова. Я также посмотрѣлъ на него и видѣлъ, какъ онъ, замѣтно, взволнованный, отвернулся.

«Что это?» опять подумалъ я.

Служба кончилась; пошли обычныя поздравленія. Къ кумѣ моей подходили и поздравляли. Когда около нея никого уже не было, я подошелъ къ ней и также ее поздравилъ:

— Ну, кумушка, желаю тебѣ, чтобъ крестница на счастье тебѣ была! сказалъ я.

Она покраснѣла и, поблагодаривъ меня взглядомъ, пошла за перегородку нянчиться съ крестницей.

Опять удивилъ меня ея взглядъ. Въ такихъ гла-

захъ можно, кажется, прочитатъ все, что таится на душѣ.

Пришлось оставаться мнѣ еще съ полчаса въ избѣ, и отбояриваться отъ угощеній, что было трудно сдѣлать, не обижая хозяевъ. Особенно привязалась бабка.

— Не отойду, хоть къ мѣсту приросту, доколѣ не докушаете! твердила она.

Наконецъ, я вышелъ и попросилъ Кудрасова проводить меня: мнѣ хотѣлось узнать поподробнѣе, что нибудь о кумушкѣ.

— Какъ зовутъ куму мою? спросилъ я его, идя рядомъ съ нимъ.

— Анютѣю окрестили.

— Она у тебя въ домѣ живетъ?

— Чай, двадцатый годокъ уже все въ семьѣ пребываетъ.

— Отчего же это она расплакалась на крестинахъ.

— Знамо, бабѣ дѣло—слезы. Какъ не похныкать? И поговорка-то говорить, что бабы слезы — вода. Пушай ручьями льются, придетъ время—высохнуть.

— Да, о чемъ же она плакала? вѣдь, и ручей течетъ, а все начало гдѣ нибудь да есть у него... Такъ и бабы слезы...

— Вѣстимо, что есть. Да, поди, найди ихъ. Баба-то она такая вздорная—сушная дура.

Я замѣтилъ, что Кудрасовъ хитритъ, не желая отвѣчать, и потому сейчасъ же остановилъ его.

— Нѣтъ, Кудрясовъ, я этому не повѣрю. Она не вздорная. Иначе кумой ты мнѣ ее не выбралъ бы. Коли не хочешь про нее разсказать, такъ и скажи мнѣ прямо, а чего хитрить!

Кудрясовъ долго молчалъ.

— Эхъ, баринъ! Анютка-то эта, вона, гдѣ мнѣ сидѣть, сказалъ онъ наконецъ, дотрогиваясь до затылка. — Зачѣмъ это я ее принялъ тогда, а не оставилъ у околицы? Дернула же нелегкая!...

Кудрясовъ опять замолчалъ; а потомъ, какъ бы смягчившись, прибавилъ:

— Бабенка она взаправду славная, тихая такая, работающая: коли что въ руки возьметъ, такъ ужъ сдѣлаетъ, чего и говорить!— для хозяйства, просто, золото. Все благо было бы да захотѣлось Никитеѣ-то моему на ней жениться! Нашла же дурь на малаго! Мерзавецъ онъ этакой, прости меня Господи, въ отцовскій домъ, да съ улицы найденныша женою хотѣлъ ввести! Тѣфу ты пропасть, и теперь думать зло беретъ. Сѣкъ я его, сѣкъ за это: ничего не брало. За нею-то я ничего такого дурнаго не примѣчалъ, и сердить же я за то тогда на нее былъ. Больно хотѣлось со двора ее согнать. Отъ Никитки, просто, прохода не было: жени, говорить, да жени! Дай мнѣ отцовское благословленіе, а потомъ и поминай какъ звали, уйду я, говорить, въ Питеръ али куда, да буду работникомъ наниматься, все какъ нибудь ее и себя прокормлю.—

Ну, слыханное ли это дѣло, чтобъ сынъ отца покидалъ изъ-за какойнибудь бабенки взбалмошной? Жалко-то и мнѣ было, да что дѣлать: отецъ я или нѣтъ? а коли такъ, и долгъ свой знай. Призвалъ я ихъ однажды,—больно присталъ уже Никитка ко мнѣ,—да въ образамъ ихъ и подвелъ. Вотъ вамъ, говорю я имъ, Пресвятая Богородица, да изсохнетъ моя рука, коли дамъ я вамъ свое благословленіе!... Бросился Никитка мнѣ въ ноги, уговаривать да упрашивать, и она, безстыдница, повалилась. Эхъ, ругаль-то я ее тогда какъ: теперь, вспоминая, самому жалко. Ну, теперь, крестить внучку позволилъ ей, чай простила мнѣ за то. А тогда больно золъ ужъ я былъ, ухъ какъ золъ!—Думалъ я тогда, думалъ: что бы мнѣ съ Никиткой начать? Анютку со двора согнать,—сердце что-то все мѣшало, да старуха моя не приказывала, и рѣшилъ я тогда его женить. Остепенится, думаю, сживется, такъ и любо будетъ. Подобралъ я ему наконецъ и невѣсту. Баба славная, дородная такая, да и деньги за ней водились. Ну, порѣшили мы съ ея отцомъ. Вмѣстѣ мельницу сговорились снять, да померъ онъ дней пять послѣ свадьбы. Взмолился мой Никитка тогда; умру, говоритъ! охъ, жутко и мнѣ было... а недѣлекъ шесть спустя, я все таки женилъ его.

Кудрясовъ тяжело вздохнулъ.

— Анютку тоже жалъ было, да ужъ видно Божья

на то была воля. Прегрѣшилъ я передъ нимъ, значитъ, чѣмъ ни на есть.

— Ну а теперь Никита что?

— Чего и говорить. Впервые и смотрѣть-то на жену не хотѣлъ. Вѣдь, на третьемъ году только внучку Богъ послалъ. Никита угрюмый такой сталъ: коли не пьянъ, слова ни съ кѣмъ не вымолвить.

— А развѣ онъ сильно пьетъ? спросилъ я.

— Какъ свадьбу 'сыграли, такъ и пить началъ, отвѣчалъ Кудрасовъ; ничемъ не уймешь. Такой пьяница сталъ — мочи нѣтъ. Все за грѣхи мои тяжкіе, значитъ, Богъ наказываетъ. Вотъ, внучку мнѣ послалъ—кажись, прощать сталъ.

Голосъ Кудрасова дрожалъ: я теперь понялъ, отчего онъ казался такимъ веселымъ и довольнымъ, во время крестинъ, и мнѣ стало жаль, что я напомнилъ ему, въ этотъ счастливый для него день, о его горѣ.

— Эхъ, баринъ! горе выскажется — все легче станетъ, замѣтилъ старикъ.

Онъ не хотѣлъ войти ко мнѣ, и отправился на мельницу, приговаривая, какъ будто въ утѣшеніе самому себѣ:—То-то, баринъ, не легко отцомъ быть!...

Кудрасовъ, какъ видно, составилъ себѣ понятіе объ отцовскихъ обязанностяхъ—и ни на шагъ не отступалъ отъ нихъ. Какъ бы ни былъ жестокъ его поступокъ, съ сыномъ, но нельзя не признать энергіи за этимъ человѣкомъ.

О. М.

Разсказъ Кудрясова сильно на меня подѣйствовалъ, и я рѣшилъ хоть чѣмъ нибудь помочь своей кумушкѣ. Часовъ въ восемь вечера отправился я на мельницу, желая видѣть Анютку и поговорить съ нею. Близъ мельницы я встрѣтилъ помольцовъ, возвращавшихся съ выбѣленными мукою рубахами: они весело толковали между собой... Какъ я узналъ потомъ, Кудрясовъ угощалъ ихъ виномъ.

Поровнявшись съ избой, гдѣ утромъ были крестины, я остановился въ нерѣшимости и взглянулъ въ нее черезъ отворенное окошко. На скамьѣ лежалъ со всклокоченными волосами, въ разорванной рубахѣ, Никита и спалъ, громко храпя. Въ первый разъ посмотрѣлъ я на него повнимательнѣе, и меня поразило его оплывшее, пьяное лице.

Надъ нимъ стояла Анютка и смотрѣла ему въ лице, держа на рукахъ крестницу. Никого въ избѣ кромѣ ихъ не было. Я не двигался съ мѣста и притаивалъ дыханіе, чтобъ не привлечь на себя ея вниманье.

Она смотрѣла на Никиту, и мнѣ казалось—будто вся жизнь ея была въ этомъ взглядѣ: такъ много любви и жалости было въ немъ. Мнѣ стало ясно, что она чувствовала въ эту минуту: она едва сдерживала рыданія, нахлывшія въ ея груди. Слезы, какъ она ни старалась удержать ихъ, накоплялись въ ея глазахъ и, тихо скатываясь по ея блѣднымъ щекамъ, падали на ребенка.

Она, какъ будто, вдругъ на что-то рѣшилась и отвернулась, отъ Никиты; я видѣлъ, какъ она прильнула губами къ пухленькимъ щечкамъ крестницы и горячо поцѣловала ихъ. Она тутъ увидѣла меня и, забывъ утереть слезы, взглянула вопросительно, желая узнать: давно ли я стою у окошка. Я отвернулся и пошелъ на мельницу, не смѣя теперь войти потолковать съ Анюткой, какъ было предполагалъ.

Я понялъ, и взгляды ея, брошенный на Никиту, и поцѣлуй, данный ребенку, вспомнилъ и то, что самъ Кудрасовъ выбралъ ее крестною матерью своей внучки и, идя домой, невольно задумался надъ жизнью, полною самоотреченія, которую бѣдная дѣвушка приняла на себя въ эту рѣшительную минуту...

ТЯНИ, ТЯНИ, ДА ОТДАЙ.

(*Морская поговорка*).

Средиземное море.—Между Виллафранкой и Генуей.

8-го іюля 187* года.

Вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день. Опять мы на морѣ, да еще какъ неожиданно! Въ три часа сигналомъ потребовали капитана въ адмиралу. Около шести онъ вернулся и приказалъ съ 8 часовъ подымать пары. Послали въ Ниццу за отпущенною на день командою и за офицерами — звать ихъ на бортъ. На берегу осталось всего четыре человѣка изъ команды, да штурманскій нашъ офицеръ. Вотъ удивятся-то, когда не увидятъ нашего корабля завтра на рейдѣ. Въ половинѣ десятаго подняли якорь и дали ходу. Идемъ мы въ Геную, чтобы доставить кого-то въ Виллафранку, но кого именно—не знаемъ. Между командой пронесся слухъ, будто бы, насъ въ Россію отсылаютъ. Я испугался, вспомнивъ, что въ Ниццѣ съ кое-какими

магазинами я еще не разсчитался, — но слухъ, къ моему счастью, оказался невѣрнымъ.

Странный человѣкъ у насъ подшкиперный. Вотъ не гадалъ найти въ немъ героя романа. А я думаю: можно было бы что нибудь написать о немъ. Уже съ виду онъ кажется и созданъ для этого... Высокаго роста, смуглолицый, съ волосами вьющимися, черными, какъ смоль, и глубокими, блестящими глазами, — онъ, безспорно, являлся самымъ красивымъ мужчиной у насъ на корветѣ; но онъ всегда казался мнѣ какимъ-то пришибленнымъ и неимоვნю тупымъ, отчего я никогда и не старался узнать его поближе.

Раза два видѣлъ я, какъ его привозили съ берега мертвецки пьянымъ, и эти случаи еще болѣе уронили его въ моихъ глазахъ. Какже я былъ удивленъ сегодня утромъ, когда, куря на бакѣ, я увидалъ нашего подшкипера съ книгою въ рукахъ и, видимо, погруженнаго въ чтеніе. Меня интересовало узнать, чтó онъ читалъ. Я подошелъ потихонько и заглянулъ въ книгу. По первой попавшейся фразѣ: «Пойдемте гулять, allons nous promener», — я сейчасъ же узналъ учебникъ французскаго языка.

Подшкиперъ, замѣтивъ, что я читаю у него черезъ плечо, всталъ, покраснѣвъ, какъ ребенокъ, и стоялъ передо мной, какъ бы желая что-то сказать и вертя въ рукахъ книгу.

— Чтожъ ты не продолжаешь читать? спросилъ я его.

— Это я такъ, ваше благородіе, балуюсь только.

Я отошелъ отъ него, не удивившись однако же выбору его чтенія. Видѣлъ же я, какъ гротъ—марсовый, Кузьминъ, въ кружкѣ матросиковъ читалъ по складамъ одну за другой арифметическія задачи уравненія, и какъ другой матросъ,—навѣрно, не помню кто—также передъ публикой вычитывалъ по разорванному листочку стараго календаря — имена служащихъ въ различныхъ Министерствахъ. (Этотъ порванный листочекъ предназначался для крученія папиросы или зюсюльки—по матросскому выраженію).

— Вальяжно читаетъ! приговариваютъ матросики, въ удивленіи передъ такимъ фокусникомъ—чтецомъ.

Я одному матросику предложилъ, было, обучить его грамотѣ.

— Куда мнѣ это въ разумъ взять! отвѣчалъ онъ мнѣ.—Парней обучаютъ, шустрые бываютъ такіе; а все таки порютъ ихъ, коли грамотѣ учать. А въ меня и долотомъ не вобьешь.

И, дѣйствительно, такъ—таки я и не вбилъ ничего ему въ голову.

Отходя отъ подшкипера, я замѣтилъ его взглядъ, желавшій что-то узнать по выраженію моего лица. Я потомъ и думать о немъ пересталъ.

Въ 7 часовъ отправился я за командой. Вотъ уже шестой разъ, какъ мнѣ приходится это дѣлать—и все еще не надоедаетъ.

*

Сегодня какъ-то особенно разгулялся народъ. Пьяныхъ было много. Зашибленныхъ однако же оказалось мало. Одинъ только музыкантъ какъ-то голову разсѣлъ, катаясь съ горы, но все еще бодро говоритъ и двигается. Оставивъ дневальныхъ на баркасѣ и нѣсколькихъ матросовъ на берегу—удерживать уже собравшуюся команду и грузить ея баркасѣ, я приказалъ двумъ унтеръ-офицерамъ, каждому съ двумя матросиками, обойти въ верхней части города трактиры и повыгнать или принести оттуда раскутившихся матросовъ. Самъ же я пошелъ по большой улицѣ, ведущей въ гору, и заглядывалъ въ каждый магазинъ и ресторанъ: не увижу ли гдѣ у привалки синюю рубаху. Матросики, въ послѣднее время, стали ухитряться и выпрашивали у трактирныхъ хозяевъ позволеніе забираться въ заднія вѣмнаты, дабы не попадаться мнѣ на глаза.

«Понадежиѣ такъ-то», рѣшили они, какъ они мнѣ потомъ сами признавались. Многихъ повытолкали такъ я сегодня изъ уютныхъ помѣщеній. И что они ни выдумывали, чтобъ только продлить эти послѣднія минуты пребыванія на берегу!...

— Ваше благородіе, позвольте рюмочку!... одну маленькую таеую,—и вся-то она съ наперстоу... говорить одинъ.

— За здравіе капитана выпью, ваше благородіе! заявляетъ другой, косясь на меня и, какъ будто бы, желая знать: неужели у меня хватить храбрости за-

претить ему исполнить его почтительнѣйшее намѣреніе.

— Ай да баринъ-то у насъ каковъ! Ну, за ваше-то собственное здоровье ужъ выпить позвольте. Изъ любви только!... Чего и говорить! увѣряетъ третій.

Мнѣ всегда становится ихъ жалко: нѣкоторые раз-чувствуются до того, что ревутъ, какъ бабы. «О-о-охъ! не увижу я больше зелены травы, похоронять меня въ сырой могилѣ! прости ты, мать земля-землянушка»... Да и мало ли еще чего городать они сдуру.

Собравъ наконецъ команды сколько могъ, я приказалъ баркасу отваливать и на веслахъ держаться шагахъ въ пятнадцать-отъ берега, а самъ, разославъ опять унтеръ-офицеровъ, пошелъ въ другія части города шататься по увеселительнымъ заведеніямъ. Мнѣ приказано было не дожидаться только четверыхъ. Взявшася по одной узенькой вилафранкской улицѣ, взглянулъ я въ одно завѣшенное красною матеріею окошко. Занавѣска была немного раздвинута, и я могъ хорошо видѣть всю комнату или лучше сказать—лавку. Тамъ, облокотясь обоими локтями на прилавокъ, стоялъ подшениперъ и говорилъ довольно громко съ дѣвушкой за прилавкомъ. Подшениперъ стоялъ ко мнѣ профилемъ. Свѣча ярко освѣщала его лице, и было видно, что щеки у него горѣли, а блестящіе глаза его ни на мгновеніе не сводились съ лица его собесѣдницы. Дѣвушка, разговаривавшая съ нимъ, ничѣмъ

особеннымъ не поражала. Чисто одѣтая, стройная, она представляла собой обыкновенный типъ пьемонтской женщины. Я не могъ слышать: о чемъ они говорили между собой,—и до меня лишь изрѣдка долетали то русскія, то французскія слова. Дѣвушка, повидимому, отвѣчала не безъ труда... Какъ бы въ подтвержденіе или въ поясненіе того, что она говорила, она положила руку на плечо подшхипера. А тотъ, опустивъ голову, пристально сталъ смотрѣть на деревянную притолку.

Я подошелъ къ двери, съ шумомъ растворилъ ее и, не заглядывая въ комнату, спросилъ: «Avez-vous des matelots russes chez vous dans la boutique».

— А, подшхиперъ! ты еще тутъ? обратился я къ нему, показывая видъ, какъ будто бы очень удивился, встрѣтившись съ нимъ.—Иди на баркасъ живѣй, а то отвалить!

И, захлопнувъ дверь, я пошелъ опять искать матросиковъ.

На перекресткѣ, у колодца, встрѣтилъ я монаха двухъ унтеръ-офицеровъ.

— Никого болѣе не нашли?

— Никого, ваше благородіе! былъ отвѣтъ.

— Ну такъ, пойдемъ отваливать!

Отваливъ, позволилъ я командѣ пѣть, зная, что безъ того пойдутъ крики—и никакъ ихъ не уймешь.

И вотъ—по синю морю раздалась пѣсня, грянула и полетѣла по—надъ волнами.

Гребцы тоже пѣли и вяло опускали свои длинныя веслы въ таеть подѣ пѣсню. Двигались мы тихо, но за то весело: ничто такъ не успокоиваетъ полупьяныхъ матросиковъ, какъ пѣсня. Каждому въ тѣ минуты хочется вылить свою душу то въ унылыхъ, то въ свѣтлыхъ напѣвахъ... То ухорски гремѣло: «самъ хозяинъ во нарядѣ—въ красномъ бархатномъ кафтанѣ»; то слышалась пѣсня про «бѣдную лебедушку, плившую по морю—морю синему»...

Стоя у руля, я радовался общему хорошему настроенію духа и невольно любовался на картину, развертывавшуюся передо мной...

Кругомъ со всѣхъ сторонъ виднѣлись горы, покрытыя зеленью. Тѣ же горы, и та же зелень и свѣтлая, полная луна отражались въ спокойной поверхности голубыхъ водъ. Желтовато-огненнымъ свѣтомъ свѣтила луна, и широкія, серебристыя полосы слегка дрожа и колеблясь, протягивались по водной равнинѣ... Передъ нами, сливаясь вдаль съ горизонтомъ, разстилалась безконечная, безграничная синеватая гладь, подернутая такими чудесными переливами свѣта и тѣни, что описать ихъ нѣтъ никакой возможности...

Корветъ нашъ съ вытянутыми брань-стенгами и обтянутымъ рангоутомъ гордо стоялъ, выпуская струю чернаго дыма, который, также отражаясь, уходилъ далеко, далеко въ пространство, какъ будто извѣщая

кого-то о нашемъ приходѣ. Подплывая ближе къ корвету, я приказалъ командѣ замолчать.

— Кто гребетъ? слышалось съ корвета.

— Сама идетъ! отвѣчалъ, было, шутникъ съ баркаса.

— Команда съ корвета! отвѣчалъ унтеръ.

✓ Фальберныхъ къ лѣвому борту! еще слышался голосъ на корветѣ и за нимъ знакомый свистъ Авдѣева.

Два фонарика фальберныхъ показались на борту.

— Концы заготовить! командовалъ вахтенный.

Мы пристали. Я первый взомель на палубу и отработовалъ вахтенному начальнику, прося его притомъ послать за докторомъ—осмотрѣть раны музыканта; вахтенный же остался слѣдить за выгрузкой баркаса, что не всегда бываетъ легко. Иной пьяненькой себя вазать не позволяетъ, а самъ взобраться не можетъ. Такимъ образомъ, на баркасѣ приходится бороться. Не безъ труда завязываютъ конецъ, поданный съ борта, вокругъ стеньги,—слышенъ свистокъ, и оторопѣлый гуляка уже высоко дрыгаетъ ногами въ воздухъ, а потомъ сейчасъ же опускается на палубу, гдѣ мончныя руки матросовъ принимаютъ его.

Выйдя на вахту, я отправился на обычное свое мѣсто—на бакъ. У самого носа корабля сидѣлъ подшхиперъ. Онъ не замѣтилъ даже, что я стоялъ почти въ двухъ шагахъ отъ него. Подшхиперный о чемъ-то мечталъ!... Онъ смотрѣлъ на безоблачное небо и на луну, тихимъ серебристымъ свѣтомъ озарившую спо-

войную поверхность моря. Подшкиперъ сидѣлъ такъ долго, не двигаясь, и вдругъ въ лучахъ луны я замѣтилъ, что на глазахъ его блестѣли слезы. Онъ, видимо, рѣшился на что-то, ибо вдругъ, махнувъ рукой, онъ всталъ, желая сойдти съ бака. Тутъ онъ увидалъ меня и, сильно смутившись, стоялъ, вопросительно смотря на меня.

— Что ты не спишь? спросилъ я его.

— Да такъ, не спится что-то... отвѣчалъ онъ.

— Ну, посиди еще, потолкуемъ! сказалъ я.

Онъ остался, прислонившись къ борту.

Наступила минута молчанія.

— Кто эта дѣвушка, съ которой ты сегодня говорилъ? спросилъ я его.

— Такъ-съ... Мамзель... отвѣчалъ онъ, запинаясь.

— А она, кажется, хорошенькая!

Подшкиперъ не отвѣчалъ и, сильно покраснѣвъ, вернулся отъ меня.

— Ужь не зазнобушка ли она твоя? улыбаясь, спросилъ я его.

— Чего грѣха таить, ваше благородіе, душу за нея отдалъ бы! отвѣчалъ онъ.

— Ну, такъ и женись на ней, а я у тебя посаженнымъ отцомъ буду! продолжалъ я шутливо.

Да! Не до шутки было подшкиперу. Онъ грустно улыбнулся и сказалъ:

— Эхъ, ваше благородіе, нашему ли брату такъ

жениться. Ужь, истинно, вамъ скажу, что не только служба, но и самая жизнь-то наша такова—тани, тини, да отдай. Чай поговорку знаете, ваше благородіе?

— Какъ не знать! но какже ты познакомился съ ней... съ этой барышней-то? сталъ я его спрашивать.

— Да съ самаго пріѣзда нашего сюда познакомился я съ ней-вотъ скоро, чай, четвертый мѣсяцъ минеть...

— Пошелъ я въ Ниццу закупить кое-чего и, возвращаясь черезъ горы, настѣгъ я дорогой дѣвушку съ корзиной на головѣ. Я снялъ у нея корзину и понесъ ее. Она сперва не давала, думая, что я корзину украсть у нея хочу,—а потомъ всю дорогу смѣялась. Такъ, до Виллафранки и дошли мы съ ней, толкуя знаками промежъ себя. Вѣдь, ни слова я по ихнему не зналъ... Съ той поры видѣлся я съ ней почти каждый день. Мать ея овощную лавку держитъ. Я къ нимъ все за провизіей и ѣздилъ. Стала она меня по французски учить, а я-то ее—русскому. Умора была, просто! А все таки научился я, и могу кое-что по ихнему сказать. Нарочно книжку купилъ. Она, бывало, учить меня, да такъ и покатывается со смѣху—и самъ я смѣялся точно шальной. Эхъ, ваше благородіе, не знать никому такого счастья! Повѣрите ли, что во мнѣ такъ сердечушко и задрожитъ, когда она, на меня гляючи, улыбнется или ручку положить ко мнѣ на плечо. А какая она —добрая! и сказать нельзя; му-

ха, бывало, въ молоко упадетъ, и ту-вынетъ, да пустить на волю... Ей Богу, право...

Подшкиперъ замолчалъ и стоялъ, потупивъ голову.

— А она тебя любить? спросилъ я его.

— Любитъ! отвѣчалъ онъ просто.

Мы оба замолчали.

— А, вѣдь, правду говорить, обратился онъ вдругъ ко мнѣ, что счастливые и не знаютъ, какъ время идетъ. Вѣдь, я сегодня только за умъ взялся. Какъ узналъ я, что приказано намъ пары разводить,—такъ вѣрите ли: у меня ноги подкосились, да и въ голову ударило, точно кто нибудь молотомъ по ней стукнулъ. Подумалось: не совсѣмъ ли насъ отсюда отсылаютъ? Вотъ сидѣлъ я теперь, да думалъ все: къ чему это меня дернуло корзину тогда у нея взять, къ чему мнѣ было и къ ней ходить, къ чему и французскому учиться — вѣдь, все по-пустому! Ушлютъ куда нибудь, да и поминай, какъ звали! Только сердце тутъ оставишь...

— Вотъ и правду сказалъ я: тани, тани, да отдай! заключилъ онъ.

Подшкиперъ глубоко вздохнулъ, и я замѣтилъ, что при послѣднихъ словахъ нижняя губа его какъ-то судорожно задрожала.

Меня отозвали къ вахтенному начальнику, и мы расстались съ подшкиперомъ до слѣдующаго дня.

Какъ ни было грустно, но пришлось намъ сегодня

проститься съ Виллафранкой. Въ 8 часовъ подняли пары, а въ 10-ть снялись съ якоря и дали ходу. Насъ провожала цѣлая флотилія лодокъ съ дамами—нашими знакомыми, которыя махали платками, зонтиками и посылали намъ послѣднее «прости». Не прошло и пяти минутъ, какъ мы отошли отъ берега,—вдругъ съ юта послышался крикъ: «Человѣкъ за бортомъ»!

Кто не бывалъ въ морѣ, кто не слыхалъ этихъ словъ, тотъ не знаетъ: какое тяжелое, гнетущее впечатлѣнiе производятъ они.

Поднялась суматоха, и пока останавливали ходъ—все бросились къ снастямъ—спускать шлюпку. Кинуться въ воду, чтобы спасти упавшаго, было не мыслимо: корветъ, идя полнымъ ходомъ, ушелъ уже далеко отъ того мѣста, гдѣ произошло несчастье. Мигомъ спустили шлюпку и, навалившись на весла, во все глаза смотрѣли мы: гдѣ вынырнетъ упавшій въ воду. Но вода долгое время оставалась покойною. Вдругъ шагахъ въ десяти отъ насъ показалось черное пятно. Въ порывѣ желанiя спасти несчастнаго мы бросились въ троемъ въ воду и схватили его. Я поднялъ у него голову...

— Подshipерный! крикнулъ я, узнавъ его блѣдное лице.

Черезъ нѣсколько минутъ мы были уже опять на палубѣ. Докторъ и фельдшеръ стали растирать подshipера, подымая ему руки и испытывая надъ нимъ

всѣ способы, употребляемые въ подобныхъ случаяхъ... Но все оказывалось тщетно. Подшхиперный былъ уже мертвъ... Пошли толки. Каждый высказывалъ свои предположенія на счетъ неосторожности, имѣвшей та-
кѣя несчастныя послѣдствія. Одно только было ясно, что подшхиперный упалъ въ воду съ русленей, но за-
чѣмъ онъ забрался туда-никто не могъ себѣ это объ-
яснить. Составили наконецъ протоколъ. Старшій офи-
церъ съ шхиперомъ и еще съ однимъ офицеромъ пош-
ли собрать вещи покойника и наложить еъ сундукамъ
его печати.

Сундуки оказались запертыми, но въ скважинѣ од-
ного изъ нихъ между стѣнкой и крышкой торчало
письмо. Оно было на мое имя. Мнѣ его принесли за-
печатаннымъ, и весь кружокъ офицеровъ собрался
около меня. Но я не рѣшился читать передъ ними, но
распечаталъ письмо, спустившись еъ себѣ въ комнату.
Оно было писано на листѣ бумаги, разграфленной для
счета. «Ваше благородіе, писалъ мнѣ подшхиперъ.
Родныхъ у меня нѣтъ, не-кому и помолиться-то за
меня будетъ. Простите, коли васъ прошу заставить
три обѣдни за меня отслужить. Въ мѣшечкѣ, чтò въ
бумагу завернуть, Вы найдете 116 рублей. Изъ нихъ
16 рублей на обѣдни отдайте, а 100 рублей отъ меня
пошлите по слѣдующему адресу: Виллафранка, Rue T.
№ 27—дѣвицѣ Жанѣ Вердіе. А о смерти моей ни сло-
ва, пожалуйста, ей не пишите. Еще одна послѣдняя

у меня есть до Васъ просьба: не показывайте этого письма никому, кромѣ капитана. Пускай всё думаютъ, что я нечаянно упалъ въ море. Вашъ покорный слуга R.»

Я исполнилъ желанія подшеипернаго, и только мы съ капитаномъ знали, что онъ совсѣмъ не нечаянно упалъ въ воду.

VI.

Порядовщикъ.

Сегодня утромъ я былъ на кирпичномъ заводѣ, гдѣ праздновался починъ. Всѣ рабочіе, мужчины и бабы, стояли кругомъ священника съ обнаженными головами и горячо молились объ успѣшной лѣтней работѣ.

Мнѣ приходится второй разъ присутствовать при такой сценѣ.

Послѣ молебна, обыкновенно, самъ хозяинъ, перекрестившись, беретъ станокъ и, смочивъ руки, выдѣлываетъ первый кирпичъ. Послѣ него подходитъ старшій прикащикъ, а за нимъ уже рабочіе—порядовщики. Каждый изъ нихъ дѣлаетъ по 2 или по 3 кирпича. Тутъ смотрятъ: у кого вышелъ кирпичъ ровнѣе да почище. Примѣта самая вѣрная. Хорошъ кирпичъ—и вся работа за лѣто на ладъ пойдетъ; кривъ вышелъ кирпичъ—нѣ не приведи Господи!—все лѣто промаяться, и заработки плохіе будутъ. Когда рабочіе перепро-

буютъ свое счастье, то всѣ отправляются въ порядовщицкую хату, въ артель. Тамъ приготовлено угощенье на славу. И говядина соленая есть и пирогъ, изготовленный артельною маткой, водка очищенная и подкрашенная, красная ужъ, навѣрно, также заготовлена на самого хозяина и его семейство. Чистыя полотенца висятъ черезъ столъ, а одно на образѣ въ углу повѣшено. Вся артель собирается. Священникъ благословляетъ хлѣбъ-соль, а хозяинъ со стаканомъ подкрашенной поздравляетъ артель съ зачиномъ. Затѣмъ, каждый работникъ подходитъ къ хозяину и жметъ ему руку. Дескать, въ ладу намъ рука объ руку съ тобою жить. Послѣ ужъ не разберешь ничего, подымается говоръ, рассказы—и ничего въ толкъ себѣ не возмешь. А особенно, когда хозяинъ, поблагодаривъ за угощеніе, изъ хаты вонъ выйдетъ, такой шумъ подымутъ, что и черезъ Неву слышно. Мнѣ изъ всѣхъ порядовщиковъ особенно понравился одинъ высокій, немного сгорбленный старикъ. Ему—дѣтъ пятьдесятъ пять. Рѣдкіе сѣдые волосы кольцами вьются и скрываютъ мощную шею. Длинная, клиномъ, борода съ сильною просѣдью оттѣняетъ его правильное лицо. Жрецы, служившіе Перуну, должны были быть похожи на него... Онъ не участвовалъ въ зачинѣ, такъ какъ у него болѣла рука. Обойдя кругомъ завода и вернувшись въ контору, я нашелъ поджидающихъ меня нѣсколькихъ рабочихъ, а между ними и старика по-

рядовщика. Когда дошла до него очередь, я его позвалъ въ контору.

— Что тебѣ нужно? спросилъ я его.

— Къ вашей милости пришелъ! Больно рука ужъ ломить. Лекарствія какого нибудь не дадите ли... Глины все съ лапушникомъ прикладывалъ, Спаси Господи, помогало, а теперь боль-то ничѣмъ не уймешь.

Я далъ ему лекарства и сталъ спрашивать.

— Ты какой артели?

— Осташевской, баринъ, села Рогачевки, вмѣстѣ съ Сухоткинымъ пришли. Сухоткина, чай, знаете?

— Какъ не знать! Онъ у меня и въ прошломъ году работалъ.

— Чтожъ ты въ прошедшемъ году у меня не работалъ? почитай, всѣ кто въ отходъ ходятъ изъ Рогачевскихъ—у меня работали.

— Да я, баринъ, ужъ больше пяти лѣтъ будетъ, какъ на заработки не ходилъ.

— Отъ чего же въ этомъ году ты опять собрался?

— Нужда пришла. Семь бабъ на рукахъ осталось, а я работникъ одинъ.

— Развѣ сыновей у тебя нѣтъ?

— Два ихъ у меня.

— Гдѣ же они?

— А для-че вамъ, баринъ, это знать?

— Такъ, къ слову пришлось.

— Ну, коли къ слову только пришлось, такъ и

знать вамъ, вѣдь, не потребно. Старикъ сказалъ это такимъ твердымъ и рѣшительнымъ тономъ, что я посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Ну, за лекарство спасибо, баринъ, проговорилъ старикъ, поворачиваясь, чтобъ уйти.

— Постой-ка еще... какъ тебя зовутъ?

— Евстафемъ, а по дому—Сирюковъ.

— А не сродственниковъ ли ты Сирюковымъ, что у васъ къ окружномъ судили. Выслалъ я имъ задатки, а они и не пришли.

Старикъ молчалъ.

— Чтожъ ты не отвѣчаешь? вѣдь, не ты согрѣшилъ, а сродственники твои, что ли. Такъ тебѣ-то что!

— Сыновья они мнѣ, проговорилъ онъ тихо.

Въ конторѣ, кромѣ меня и старика, никого не было. Я много слышалъ объ этихъ Сирюковыхъ и рѣшился его разспросить.

— Ну, извини, сказалъ я ему. Вѣдь, я не зналъ... чай жаль тебѣ ихъ.

— Чего ихъ, нехристей, жалѣть! сказалъ старикъ угрюмо.

— Вѣдь, все на каторгѣ-то больно ужъ жутко, возразилъ я на его странный отвѣтъ.

— Не миновать и то имъ было каторги.

— Какъ такъ?

— Да кровь въ нихъ разбойническая такая. Зналъ

я, напередъ зналъ, что такъ будетъ. Вотъ Божья кара и настигла. Что должно быть, того ничѣмъ не отворишь, сказалъ порядовщикъ.

— Отчего же именно *должно* было быть? спросилъ я.

— Такъ, кровь не выносить, самъ я въ томъ виновать, да ужъ написано такъ на роду у меня, началъ порядовщикъ.—Вотъ, баринъ, какъ это случилось: молодъ-то я былъ тогда, собой—чего хаять—молодцемъ былъ—безъ малаго косая сажень; хотѣлъ меня отецъ женить, да все не по нутру мнѣ выходило, все отпѣкивался. Въ то время верстахъ въ пяти отъ насъ выселки были: помѣщикъ нашъ старый, послѣ француза, приказалъ туда больно, ужъ бойкихъ поселить, такъ и звались выселки — Разбойки... Ну, а на счетъ веселья — шабашъ — разливанное море. Когда подчасъ попадешь къ нимъ, угостятъ на славу, и не обидятъ, а коли на сторонѣ кого поймаютъ, такъ облупятъ ужъ такъ, что нечего говорить,—почти голышомъ отпустятъ.

— Разъ, ночью, у насъ коня свели со двора. Конь былъ добрый, любимый. Туда-сюда, искать стали. Ну, вѣстимо дѣло,—въ Разбойку свели. Всѣ тогда такъ говорили. Нечего дѣлать, взялъ я топоръ поострѣе, за поясъ задѣлъ, да и давай Богъ ноги въ Разбойку. Пришелъ я и никого не засталъ: всѣ, вишь, на промыселъ пошли, одни бабы да дѣти остались. Долженъ я

*

сказать, что ихъ всё боялись пуще огня, никто къ нимъ, почитай, и не ходилъ. На меня-то смотрѣли, какъ на диковинку какую, изъ оконъ поглядывали. Сѣлъ я на пенъ, да и сталъ ждать, что будетъ. Вижу я: изъ избы вдругъ баба съ коромысломъ идетъ, на коромыслѣ—бѣлье. Эй, думаю себѣ, вотъ отъ нея и выпытаю я: нѣтъ ли тутъ лошади приводной съ утра. Баба къ рѣкѣ — я за ней; сталъ я глядѣть на нее. Нѣтъ, баринъ, такихъ ужъ нѣтъ, я никогда и не видалъ такой. Высокая, статная, глаза-то точно звѣзды блестятъ; кожа бѣлая, какъ снѣгъ, а косы черныя—чуть не до земли... Услыхала она меня за собою, обернулась.

— Тебѣ что? спрашиваетъ, а сама брови такъ и сдвинула.

— Народъ жду! въ отвѣтъ ей говорю.

— А для-ча тебѣ народъ?

— Коня свели у меня. Коли не добромъ, такъ топоромъ, а отберу, продолжалъ я и забылъ совсѣмъ, что хотѣлъ хитрить.

— Ишь рыанный какой, сказала она и усмѣхнулась.

— Времени много, коли ждать хочешь, нѣ — неси бѣлье! А сама, гляжу, смѣется.

— Да что, баринъ... Такой дурманъ на меня навела, что я и сказать не могу. Мягче воска сталъ... Слушался ея точно ребенокъ, все бѣлье за нея всподоснулъ. И ужъ очень весело мнѣ было въ ту пору. Сѣла она на траву и смѣется, на меня гляючи. Къ

вечеру народъ собрался, всѣ на меня искоса поглядывали. Я-то объ лошади, почитай, и забылъ совсѣмъ. Гляжу: на водоной коней ведутъ. Такъ и есть! И мой буланый съ ними... Ужъ больно разсерчалъ я тогда, въ глазахъ зарябило. Бросился я на парня, что коня-то ведъ, и выдернулъ у него недоуздокъ.

— Нехристи! говорю я.— Конь-то, вѣдь, мой!

Тутъ на меня всѣ навинулись. Да я топоромъ взмахнулъ. Народъ-то и отступился. Вмѣшалась тутъ Груша за меня.

— Чего вы, нехристи, всѣ-то на одного напали? Ежели, говорить, онъ самъ пришелъ — такъ вы ужъ съ нимъ по Божески поступите. Выходи ето подюжей, да и борись съ нимъ. Коди нашъ верхъ возьметъ — наша лошадь, а коди онъ повалить — ну такъ пускай себѣ ведетъ коня.

И больно по сердцу это мнѣ было.

Боролись мы съ однимъ парнемъ. Богъ помогъ, повалилъ таки я его, а потомъ къ Грушѣ подошелъ — спасибо сказать.

— Ну, иди, проваливай, чтобъ и духу твоего не было! промолвила она, а сама на меня таково ласково смотреть.

Часто послѣ того сталъ я захаживать въ Разбойку. Все, бывало, такъ ужъ и подгонишь, чтобы съ Грушей повидаться. Родители мои больно серчали на

меня за то, а Груша сама мнѣ и добраго слова не промолвила.

Разъ, ночью,—я на сѣновалѣ спалъ—слышу вдругъ, кто-то кричитъ меня. Голосъ знакомый, а распознать не могу. Сюда, сюда!—зоветъ голосъ. Глажу и глазамъ не вѣрю: Груша стоитъ, на видъ-то спокойная, а сама, какъ снѣгъ, бѣла.

— Семья меня замужъ выдать хочетъ, такъ я, вотъ, и сбѣжала. Возьми ты меня въ жены.

— А коль не выдадутъ тебя за меня? спросилъ я.

— Такъ что-жъ, по своей волѣ буду жить съ тобой.

Курица ты, что-ли, что меня не отстояшь.

— Молодъ я тогда былъ!... Сердце во мнѣ такъ и ёкнуло.. Рѣшилъ я съ родителями переговорить. Ну, вѣстимо дѣло, отецъ мнѣ порку задалъ... Какъ я, вишь, помимо его воли, жену собирался взять! И слышать не хотѣлъ... Сговорились мы съ Грушей, да и ушли въ отходъ въ одну темную ноченьку. Въ Кіевѣ пошли — на богомолье. Тогда вѣдь строго было,—крѣпостными еще состояли... Года три такъ и блуждали мы съ нею. Все хорошо у насъ шло, да одно только плохо — больно ужъ на руку не чиста она была; гдѣ, что стащить можно—ужъ навѣрно стащить и отъ меня скроетъ. Мѣсяца ужъ черезъ два потомъ скажетъ. И билъ же я ее тогда — все исправить хотѣлось, — да гдѣ тутъ, изъ березы сосну не выдѣлаешь! И ужъ такая она была, баринъ, зазорная—прости Гос-

поди! — что и приступу къ ней не было, одного меня только и слушалась. Чуть кто ее потревожить, такъ сейчасъ за ножъ и хватится. Глаза кровью нальются, страшная станетъ такая,—не приведи Богъ!... А ужъ меня ежели кто затронетъ,—бѣда!... жизни своей не пожалѣетъ. Разовъ 10 въ кутузкѣ за буйство сидѣла. Бывало мнѣ и стыдно за нее, а все сердцу-то легко было: потому-знаешь, что меня ужъ ни на кого не промѣняетъ. Угораздило меня таки жениться на ней. Такого попа нашелъ, что за деньги женилъ... Вернулись мы восвояси. Нечего было дѣлать, женатаго сына изъ дому не выгонишь. Отецъ у меня всѣхъ въ строгости держалъ. Ну, и Груша ничего себѣ, жила смирно.

Стали у меня сыновья подростать. Озорники страшные вышли изъ нихъ... И стегаль-то я ихъ, и безъ хлѣба-то на сутки оставлялъ, и къ столбу-то привязывалъ, ничего не брало! То пастухи придутъ жалиться, что стада ихъ разогнали, то—вишь, всѣхъ лошадей, пойманныхъ на выгонѣ, до полусмерти загнали... И, вѣдь, жизнь имъ была въ копѣйку. Знать, кровь такая ужъ была у нихъ... Въ то время, безмалаго всю Разбойку въ Сибирь сослали. Старъ я ужъ становился... Гдѣ ужъ тутъ—за тремя сыновьями услѣдишь! Стали въ отходъ уходить—да, вѣдь, и я тоже, все по заводамъ мыкался. Ну, знамо дѣло, въ отходѣ мало хорошему научишься. «О-охъ! говорилъ я имъ; не миновать вамъ кандаловъ!» Такъ, вѣрно же сердце мое чуяло.

Разъ ночью—не такъ давно это было,—вся семья въ сборѣ находилась, и вечернюю молитву читали. Жена-то моя въ углу фиміамъ подѣ образомъ курила. Слышу я, стукъ у воротъ. Выглянулъ я въ окно, и вижу: становой стоитъ, да солдаты съ нимъ, а у воротъ—часовые... Понялъ я вдругъ—насталъ, вѣрно, часъ! Сыновья-то мои—шапку въ охапку, да къ двери. «Стой! кричу я, стой!» Коль виноваты, такъ чтожъ тутъ бѣжать—и самъ въ дверяхъ всталъ. Вошли тутъ становой, и сотскій и старшина. Перекрутили насъ всѣхъ, всю семью поголовно—и повели изъ избы вонъ. Посадили меня въ телѣгу связаннаго. Вижу я: съ понятными весь дворъ мой обшариваютъ. Подъ амбаромъ много добра нашли, всё мужицкаго больше—да еще сумку одну шитую вытащили. Я, точно, во снѣ все сидѣлъ—ничего и распознать не могъ. Только и понималъ, что *насталъ часъ*. Вещи-то всѣ краденныя были. Сталъ я съ подводчикомъ говорить, да потомъ и спросилъ его: за что это насъ въ кандалы засадили?

— Сыновья твои, говорятъ, вчера купцовъ перерѣзали! отвѣтилъ мнѣ подводчикъ.

«Охъ! грѣховодники! подумалось мнѣ; а еще вѣчоръ со мною молитву творили, да и сегодня на всеобщей были»...

Отъ мужика-то этого и узналъ я въ чемъ дѣло. Ночью изъ лѣсу домой шли мои сыновья-то, а ихъ

кибита настигла. Вотъ, тутъ же прѣшли они обобратъ ее. Въ кибиткѣ двое купцовъ сидѣли, да дочка одного, изъ нихъ—дѣвочка лѣтъ тринадцати. Поднялась тутъ между ними свалка. Ямщика-то обывательскаго мой-то старшой и ударъ прямо стягомъ по головѣ, такъ и свалилъ его, какъ снопъ...

Надоумилъ лукавый—купцовъ-то ерикнуть: убили вы его, окаянные, въ каторгу васъ!... Сынovie-то и испугались, да чтобы не было свидѣтелей и перѣрѣзали купцовъ. И дѣвочку-то зарѣзать хотѣли, да пощастливилось ей!... не до смерти докололи ее. Опмясь, доплелась она кое-какъ въ село, въ верстахъ двухъ оттолѣ,—а тамъ и дала знать... По свѣжимъ слѣдамъ прямо и махнули къ намъ на дворъ. Ну, судили ихъ—судили, да и меня тоже, по новому порядку очень ужъ долго... ихъ въ каторгу сослали, а меня оправдали. А, вѣдь, я-то всему виной. Себя самъ потѣшилъ, Грушу въ жѣны безъ отцовскаго благословенія взялъ—дѣтей погубилъ. Вѣдь, люди-то этого не поймутъ, а на всякую вещь Божій зарокъ положень... Со мной-то сынovie всегда ласковы да добры были, нечего ихъ хаять—да кровь имъ мѣшала, вишь, понять, что—добро, что зло. Не они виноваты!...

Я смотрѣлъ на старика Сирюкова: невольно вспоминая системы Фогта, и удивлялся: какъ это онъ кавимъ-то чутьемъ предугадывалъ тайны нашей природы—еще такъ тусело освѣщенные лучемъ науки.

— Чай, тебѣ-то съ Грушею жаль ихъ теперь? спросилъ я его.

— Себя наказалъ, дѣтей отъ нея приживая! отвѣчалъ онъ. А коли бъ съ-изнова начать, все также бы сдѣлалъ. Что ихъ жалѣть!... докончилъ онъ, махнувъ рукою.

Въ глазахъ его блеснули слезы.

— Ну, баринъ, за ласковое слово спасибо!... скороговоркою сказалъ онъ вдругъ и, повернувшись, вышелъ изъ комнаты.

Пойми!

Вѣна.

Прогуливаясь сегодня по Грабену, я заглядывалъ на ярко освѣщенные окна магазиновъ и вдругъ наткнулся на Аральскаго, на своего стараго товарища по морской службѣ.—Аральскій—человѣкъ не глупый, хорошій математикъ, красивъ собою. Порядочное состояніе позволяетъ ему вести безалаберную, безцѣльную и чисто созерцательную жизнь героевъ Висбаденскихъ, Баденбаденскихъ и другихъ водъ. Есть люди съ какимъ-то врожденнымъ чутьемъ: они не знаютъ, какъ дѣйствовать въ нѣкоторыхъ случаяхъ жизни, но поступаютъ по инстинкту и поступаютъ хорошо. Другіе же, напротивъ, и воспитаніемъ и всей жизненной обстановкой, какъ будто, поставленные на прямую дорогу,—поминутно сбиваются, не предугадывая и не чувствуя прямого пути. Аральскій принадлежалъ къ числу послѣднихъ. Онъ былъ воспитанъ со всевозможнымъ стараніемъ, хорошо работалъ, былъ пріятнымъ и

бойкимъ собесѣдникомъ, но въ немъ никогда не горѣлъ тотъ огонекъ, что зовется огнемъ юности; никогда въ душѣ его не было ключемъ свѣжее чувство. Въ жизни надо много отгадывать. Аральскому это было не дано. Странно, что, не смотря на это, у него сложились довольно глубокия убѣжденія... Эти убѣжденія вырабатались у него хладнокровнымъ сравненіемъ; онъ понималъ ихъ, а не чувствовалъ.

Я былъ радъ встрѣчѣ съ нимъ, и, взявшись подъ руку, мы пошли съ нимъ бродить по яре^о освѣщеннымъ, узенькимъ улицамъ Вѣны, заглядывая на витрины магазиновъ, чтобы убить время.

— Не пойти ли намъ послушать Штрауса въ Фолес-гартенъ? спросилъ меня Аральскій.

Я согласился, и минутъ черезъ десять мы уже смотрѣли, какъ Штраусъ, подпрыгивая и качаясь на одномъ мѣстѣ подѣ тактъ, дирижировалъ оркестромъ.

— Слыхалъ ли ты, Салванаренко? Студиновъ—погибъ! обратился вдругъ ко мнѣ Аральскій.

— Какъ погибъ? спросилъ я испуганно.

— Ну-да... женился!

— На комъ? спросилъ я.

— Цѣлая исторія! отвѣчалъ онъ.—Студиновъ поѣхалъ въ отпускъ къ себѣ въ деревню и, живя тамъ въ своей берлогѣ, втюрился въ какую-то кухарку—ну и остался тамъ продолжать свою идиллію, сдѣлавъ изъ своей Акульки или Парашки м-мъ Студиновъ.

— Жаль мнѣ Студинова! замѣтилъ я.—Какъ бы онъ, пожалуй скоро не раскаялся?

— И только!?... А по моему, Студиновъ—олухъ! возразилъ Аральскій.—Къ чему тутъ, спрашивается, понадобилось вдругъ жениться?... Ну, понравилась ему женщина — и живи онъ съ ней годъ, два, три — сколько душѣ угодно—а потомъ пристрой ее, какъ тамъ знаешь. И кончено!.. Закабалить же себя этакъ, вѣдь, признайся—глупо!

— Не знаю! отвѣчалъ я.—Въ такихъ случаяхъ все зависитъ отъ женщины и отъ ея способности перенять все, что ей незнакомо и ново, т. е. поставить себя въ уровень съ человѣкомъ, поднявшимъ ее. Если она будетъ въ состояніи это исполнить, то...

— Ну, ну, заврался! перебилъ меня Аральскій.— Ну, позъ же ты, Садванаренко, и вѣкъ останешься такимъ! Скажи, пожалуйста, къ чему эта работа, къ чему поднимать ее до своего уровня? Брать жену для того, чтобы воспитывать ее... Это чушь!

— Иногда чушь — иногда нѣтъ. Въ такомъ воспитаніи есть много прелести. Создать изъ любимой женщины то, что хочешь, — великое дѣло... Я оттого и не виню Студинова и тѣхъ, которые подобно ему женятся на цыганкахъ, горничныхъ и мужичкахъ. Главное, по моему, въ такихъ женитьбахъ—мотивъ: была бы искренняя привязанность, а не одно только потакательство страстямъ...

— Все таки не вижу я причинъ для женитьбы! возразилъ Аральскій. — Сожительство я допускаю... пойми, что женитьба въ такихъ именно случаяхъ — нравственная смерть для мужа, отречение его отъ общества, нравственное паденіе для него.

— Отчего же — нравственное паденіе? Я такой поступокъ считаю именно глубоко нравственнымъ. Только бракъ одинъ можетъ установить право сожительства, иначе былъ бы полный произволъ, совершенная анархія въ правахъ.

— Ну, ужъ извини! замѣтилъ Аральскій. — По моему — именно въ твоёмъ хваленомъ бракѣ иногда, даже болѣею частью, существуетъ самая глубокая безнравственность. Она еще тѣмъ ниже, тѣмъ непростительнѣе и вреднѣе, что она прикрыта маской притворнаго житейскаго лицемерія.

— Какъ такъ? спросилъ я.

— Очень просто. Сходятся два семейства и между ними рѣшается участь двухъ дѣтей, которыя вступаютъ въ бракъ — вслѣдствіе семейныхъ, не личныхъ желаній. Прелестная дѣвушка выходитъ замужъ за человека, второе старше себя, — и кромѣ восклицанія: *comme elle est raisonnable?* — никто ничего не найдетъ въ томъ предосудительнаго. А что можетъ быть безнравственнѣе такого брака? Не нравственное ли паденіе для дѣвушки предоставлять себя ласкамъ дряхлаго старика!... Когда ты видишь на улицѣ, какъ падшая женщина

хлѣба ради заигрываетъ съ какимъ нибудь старикомъ, то ты отворачиваешься съ отвращеніемъ... А къ такимъ новобрачнымъ, о какихъ я говорилъ, весь городъ ѣздитъ съ поздравленіями. Чѣмъ же одна хуже другой? Одна продается ради денегъ, ради куска хлѣба, другая—ради чего нибудь другаго. А если такая женщина потомъ, въ минуту увлеченія, поддавшись искушенію, забудетъ свой долгъ — то всѣ стануть бросать въ нее камнями. Вообще всѣ забываютъ, что мы—люди, простые смертные: что въ каждомъ изъ насъ, подъ пеломъ свѣтскихъ обычаевъ и приличій тлѣютъ страсти; что если мы не дадимъ имъ раціональнаго направленія, то...

— То, повторилъ Аральскій, тутъ могутъ представиться три случайности: Или человекъ, какъ говорится, родится въ сорочкѣ, и въ жизни все идетъ у него, какъ по маслу, или человекъ, отдавшись влеченію, отрекается отъ положенія въ свѣтѣ, отказывается отъ общественнаго уваженія, или же силою воли онъ порабощаетъ въ себѣ влеченіе и дѣлается нравственнымъ калѣвой, какъ бы, автоматомъ. Скажи теперь, пожалуйста: неужели не лучше сознаться передъ самими собою,—что мы, дѣйствительно, слабы передъ требованіями нашего организма? Не лучше ли это установить разъ и навсегда и затѣмъ не презирать и не преслѣдовать тѣхъ, которые поддались влеченію...

— Конечно, нѣтъ! замѣтилъ я.—Тогда будетъ не-

возможно опредѣлить границу между честью и безчестьемъ, между честными женщинами и нечестными.

— Нѣтъ! можно будетъ... отвѣчалъ Аральскій. — Та, которая себя продаетъ, не честна; та же, которая поступаетъ по влеченію, по моему—невинна.

— Напротивъ, замѣтилъ я, по моему — женщина, которая себя продаетъ иногда хлѣба ради и дѣлаетъ это съ отвращеніемъ — гораздо честнѣе какой нибудь свѣтской женщины, которая и не старается противустоять минутнымъ увлеченіямъ.

— Опять поэзія! возразилъ Аральскій. — Тутъ нѣтъ, какъ тебѣ сказать, ну-да — il n'y a pas d'alternative. Женщина, продающая себя—не честна; не дѣлающая этого—честная женщина.

— Значить, по твоему, нѣтъ смягчающихъ обстоятельствъ; значить, каждое преступленіе, каждый проступокъ долженъ быть—по твоему—наказанъ...

— Еще бы! замѣтилъ Аральскій. — Весь юридическій кодексъ долженъ быть составленъ на основаніи двухъ вопросовъ: сдѣланъ ли проступокъ или нѣтъ.

— А судъ присяжныхъ? спросилъ я.

— Чужь! отрѣзалъ Аральскій. — Да ты самъ хорошо знаешь, какъ теперь возстаютъ противъ такого судопроизводства, и ты увидишь, что лѣтъ черезъ 10—мно-го черезъ 20—онъ будетъ вездѣ отмѣненъ.

— Очень будетъ жаль! отвѣчалъ я. — Неужели мы столько вѣковъ работали для того, чтобы прійти къ

такому ненужному учрежденію, что все это было попустому, что мы вернемся опять къ тому времени, когда царствовалъ безнаказанно законъ—зубъ за зубъ—око за око.

— Конечно! перебилъ меня Аральскій.—По какому праву изъ двухъ или трехъ преступниковъ, совершившихъ одинъ и тотъ же проступокъ, ты обвиняешь одного, а другимъ, двумъ, прощаешь? Передъ закономъ цѣлаго общества всѣ преступленія должны быть равны, а поэтому должны быть и равно наказаны.

— Очень просто, отвѣчалъ я:—потому что въ абсолютномъ смыслѣ слова—преступленій нѣтъ.

— Какъ такъ?

— То, что мы называемъ преступленіемъ, непременно результатъ какой либо причины. Дѣло въ томъ: были ли, дѣйствительно, причины на столько сильны, чтобы послѣдствіемъ ихъ было преступленіе? если «да», то общество можетъ простить, если «нѣтъ», то общество караетъ.

— Значитъ, законы обратятся въ пустой звукъ?

— Вовсе нѣтъ... Законы — ничто иное, какъ предѣлы личной свободы дѣйствій каждаго. Это сборникъ тѣхъ случаевъ превышенія личнаго права, которыя вредятъ общественному благосостоянію. Проступокъ подводится къ такому-то случаю, и общество спрашиваетъ себя: какія были причины, побудившія члена общества къ такому превышенію правъ? Если тѣ причины на

столько слабы, что онѣ не должны были бы имѣть послѣдствіемъ проступокъ, то виновный наказывается; если же общество убѣждается, что причины могли имѣть таковое послѣдствіе, то оно прощаетъ. Тоже самое мы видимъ и въ нравственной сферѣ... Все зависитъ отъ побудительныхъ причинъ... Неужели ты никогда не встрѣчалъ женщины, которой ты простить не можешь за то, что она ввѣрилась тебѣ? Неужели ты первый въ нее бросилъ бы камнемъ?

— Нѣтъ, не случилось.

— А Маша?

Аральскій даже вскочилъ отъ удивленія.

— Какъ! ты знаешь? спросилъ онъ меня.

Онъ былъ такъ наивно озадаченъ, что я разсмѣялся.

— Между нами все кончено, сказалъ онъ какъ-то сурово, смотря пристально на кончики своихъ сапогъ.

— Послушай-ка, Аральскій, я много слыхалъ объ этой исторіи. Потѣшь друга: Расскажи-ка мнѣ ее самъ, мнѣ очень хотѣлось бы знать: какъ было въ дѣйствительности.

— Что жъ, пожалуй! согласился Аральскій. — Видишь: Маша—это самый смѣшной характеръ, какой я встрѣчалъ. Чортъ знаетъ, никакъ не отгадаешь ее. Долженъ я тебѣ сказать, какъ я съ ней познакомился: года два тому назадъ я поѣхалъ лѣчиться въ... ну, да это все равно. Одинъ знакомый посовѣтовалъ мнѣ оста-

новиться въ мебелированныхъ комнатахъ, которыя содержалъ старый нѣмецъ, говорившій хорошо по русски. Я узналъ потомъ, что старпѣзъ этотъ—отецъ Маши—лѣтъ тридцать управлялъ разными имѣніями въ Россіи, женился тамъ и, сколотивъ себѣ капиталъ, вернулся in's Vaterland, купилъ себѣ домъ и устроилъ въ немъ мебелированныя квартиры. Сначала я не обращалъ особеннаго вниманія на Машу. Но, мало-по-малу — самъ не знаю какъ это сдѣлалось—она стала мнѣ нравиться. Часто приносила она ко мнѣ письма, или кофе, помогая въ работахъ по дому единственной прислугѣ. Мы часто съ ней говорили о Россіи и о деревенской жизни, которую она такъ любила... Помнишь ты картину въ дрезденской галлерей, представлявшую кофейницу. Маша была похожа на нее, какъ двѣ капли воды. Когда смотришь на картину, то ничѣмъ особенно не поражаешься въ ней. Вглядѣвшись же хорошенько, поймешь тонкость рисунка и удивительную граціозность и изящество всей фигуры кофейницы. Такова была и Маша. Наружностью она также не поражала съ перваго взгляда. Чудные, бѣлокурые волосы, большіе голубые глаза, ослѣненные черными, длинными рѣсницами, какое-то особенное выраженіе скромности и сдержанности—мало-по-малу вращивались и запечатлѣвались въ воображеніи. Не прошло и двухъ недѣль, а я почти уже по цѣлымъ днямъ сидѣлъ дома, урывками выгадывая время говорить съ нею. Она также старалась почаще бывать со мною.

*

Разъ какъ-то въ воскресенье никого не было дома. Родители Маши также пошли въ Курзалъ, слушать тамъ глупую музыку; мы остались во всемъ домѣ одни.

— Минуть черезъ пять дверь моей комнаты растворилась и Маша вбѣжала въ комнату, почти крича: «на-
конецъ-то мы одни!» — потомъ, вдругъ, покраснѣвъ, какъ ребенокъ, она хотѣла было выбѣжать изъ комнаты. Что жъ тебѣ рассказывать объ этомъ... мы зажали съ ней припѣваючи и не заглядывали въ будущее. Она и не задумывалась о томъ, что изъ этого выйдетъ. Утромъ она бросала мнѣ чрезъ окно цвѣты, днемъ ея постоянной заботой было, какъ найти предлогъ, чтобы быть со мной вмѣстѣ. Вечеромъ, когда все затихало, мы опять сходились. Я самъ себѣ не отдавалъ яснаго отчета, не думалъ, что изъ этого выйдетъ?..

— Срокъ лѣченія моего кончился, два мѣсяца пользованія водами прошли, — и я рѣшился ѣхать. А Маша?.. Что жъ! подумалъ я. Она поступить, какъ хочетъ. Въ тотъ же самый вечеръ я переговорилъ съ нею объ этомъ. Ну, конечно, тутъ были слезы, но слезы тихія, безъ восклицаній, безъ театральныхъ жестовъ и криковъ, безъ громкихъ, патетическихъ словъ. Вдругъ, она выбѣжала изъ комнаты, не сказавъ мнѣ ни слова. На слѣдующее утро она сама принесла мнѣ кофе. Никогда не видалъ я ее такой хорошенькой! Она была страшно блѣдна и глаза ея какъ-то особенно

блестѣли. Она не сказала мнѣ ни слова и, поставивъ подносъ на столъ, вышла изъ комнаты. Наливая кофе, я вдругъ замѣтилъ на подносѣ записку. Это былъ простой лоскутокъ бумаги, на которомъ четко и твердо, рукой Маши, были написаны четыре слова: Я ѣду съ тобой.

— Какъ тебѣ сказать?... Я сперва обрадовался... Что-то, кажется, заглося вдругъ у меня въ груди—можетъ быть, это и есть истинная любовь, о которой такъ много говорятъ—но у меня она не длилась долѣе минуты. Цѣлые два дня я былъ въ нерѣшимости: взять ее или нѣтъ. Ну, да кончено!.. человекъ — слабъ... я поддался искушенію и очутился вдругъ въ Брюсселѣ, живя въ маленькой, скромной квартирѣ съ Машей. Понимаешь—*tout à fait maritalement*. Первое время такая жизнь мнѣ нравилась: это было совершенно ново для меня. Но я не созданъ для супружества—долженъ въ этомъ признаться—и скоро мнѣ эта жизнь стала въ тягость. Не прошло еще какихъ-нибудь и двухъ мѣсяцевъ, а я почти весь день просиживалъ въ кафе или въ веселомъ обществѣ товарищей. Маша никогда не жаловалась, никогда не дѣлала упрековъ. Я только потомъ вспомнилъ, какъ она исхудала въ это время. Она почти всѣ дни сидѣла одна дома. Иногда я самъ себя упрекалъ за то, что такъ пренебрегаю ею—тогда я рѣшался оставаться дома. Но исполненіе такого долга раздражало, злило меня. Я придирался къ Машѣ,

былъ грубъ, скученъ, пока не вырывался на волю. Признаться, я былъ очень пошлъ тогда и, кажется, все отъ ненормальной жизни, о которой я тебѣ говорилъ. Но Маша не жаловалась... Тутъ я получилъ странное письмо отъ родителей Маши. Они писали мнѣ, что они знаютъ о нашей жизни въ Брюсселѣ, что они дочери своей писать не хотятъ и что они примутъ ее только тогда въ домъ, если они узнаютъ, что она моя законная жена.—Итакъ, были люди, которые полагали, что женитьба возможна. Признаться, такая мысль никогда мнѣ и въ голову не приходила. Ну, подумалъ я, нужно кончить, но какъ? Денегъ у меня не было, а вѣдь, ты знаешь, что меньше 10,000 франковъ, si on se respecte, дать нельзя. Съ этой суммою она могла бы начать какую-нибудь торговлю—ну, однимъ словомъ, хоть чѣмъ-нибудь была бы обеспечена. Но денегъ не было, и это еще пуще сердило меня. Разъ какъ-то утромъ ко мнѣ входитъ въ комнату совершенно незнакомый господинъ. Онъ былъ скромно, но чисто одѣтъ, лицо его мнѣ очень понравилось съ перваго взгляда. Большая овладистая борода и свѣтлые, бѣлокурые волосы какъ-то шли къ его блѣдному, энергичному лицу. Въ его глазахъ, черныхъ, какъ сталь, выражалось удивительное спокойствіе и обдуманность. Вообще, онъ производилъ впечатлѣніе чело­вѣка съ желѣзною волею и рѣшимостью.

— Я долженъ вамъ представиться, заговорилъ не-

знакомецъ спокойно, безъ всякаго замѣшательства.—Я артистъ-скрипачъ, и у меня на три года заключенъ контрактъ съ однимъ изъ брюссельскихъ театровъ, гдѣ я и играю первую скрипку. Я не богатъ; но все-таки кое-что сбережено на черный день. Я васъ видѣлъ въ театрѣ нѣсколько разъ; вы были не одни. Съ вами сидѣла женщина лѣтъ двадцати, которая съ перваго же взгляда мнѣ понравилась. Я навелъ справки и знаю также, что вы ее не любите, что она вамъ въ тягость. Я знаю это все. Я нанялъ противъ васъ квартиру — вонъ посмотрите—вотъ мои окошки, вамъ будетъ видно изъ этого окна...

— Милостивый государи! перебилъ я его.—Я не знаю, что вы хотите, но если вы скажете еще слово, то я именно въ это окошко выброшу васъ!..

— Подождите! продолжалъ онъ совершенно хладнокровно.—Дайте мнѣ высказаться. Если мое предложеніе покажется вамъ обиднымъ и неисполнимымъ, то я извинюсь передъ вами, но я тогда сильно ошибусь въ моихъ предположеніяхъ. Повторяю: я знаю всю вашу исторію, и, кажется, понялъ хорошо ту, которую вы пренебрегаете... Я знаю также, что я люблю ее искренно и глубоко. Я рѣшился придти прямо къ вамъ и честно высказаться передъ вами и спросить васъ: не возьметесь ли вы сообщить ей о нашемъ свиданіи, а также и о томъ, что тотъ, котораго она встрѣчала сотни разъ и котораго она не могла не замѣтить, пред-

лагаешь ей свою руку и скромную, тихую семейную долю жены артиста. Если же вы откажетесь, то я должен вас предупредить, что я сдѣлаю все, что въ моихъ силахъ, чтобъ отнять ее у васъ. Теперь я кончилъ—рѣшайтесь!

Я почти съ ужасомъ поглядѣлъ на этого человѣка. Онъ хладнокровно смотрѣлъ прямо мнѣ въ глаза, какъ будто стараясь отгадать мой отвѣтъ. Какъ это онъ такъ хорошо понималъ меня! Я и забылъ даже, что осердился на него сначала, и невольное чувство уваженія къ нему овладѣло мною совершенно. Въ эту минуту мнѣ мелькнула мысль, что—вотъ исходъ, котораго я напрасно и долго искалъ.

— Послушайте, отвѣчалъ я ему послѣ минутнаго молчанія.—Ваше предложеніе и, вообще, этотъ образъ дѣйствій хотя и выходитъ изъ общей колен, тѣмъ не менѣе я вполне оцѣнилъ его и передамъ ваше предложеніе...

Незнакомецъ всталъ, видимо довольный исходомъ своей попытки.

— Еще одно слово! сказалъ онъ мнѣ, прощаясь.— Я знаю, что вы захотите покончить ваши отношенія какимъ-нибудь денежнымъ подаркомъ, а этого я именно и не хочу. Это я ставлю моимъ единственнымъ условіемъ. Прощайте!

Онъ протянулъ мнѣ руку и также спокойно вышелъ изъ комнаты, какъ и вошелъ въ нея.

Я сейчас же позвалъ Машу и передалъ ей весь нашъ разговоръ. Она сидѣла долго молча, потомъ, вставъ и облокотившись на мое плечо, она спросила:

— Ты этого хочешь?

— Что за вопросъ! отвѣчалъ я уклончиво.—Какъ мнѣ желать этого! Но, любя тебя, я долженъ сознаться, что это было бы очень, очень разумно. Жениться мы не можемъ. Ты знаешь, я этого тебѣ никогда не обѣщалъ. Когда-нибудь настанетъ конецъ нашимъ отношеніямъ и тогда, что будетъ?..

Маша слушала меня съ напряженнымъ вниманіемъ. Въ эту минуту мнѣ показалось, что ей какъ будто отчего-то вдругъ стало невыносимо больно. Она поблѣднѣла, какъ полотно, и почти вскрикнула. Она часто жалавалась на боль въ груди, около сердца. Вѣдь, нужно же было, чтобъ припадокъ случился въ такую минуту! Я унесъ ее, уложилъ въ постель... Она не проронила ни слова. Когда припадокъ прошелъ, она, облокотившись на руку, приподнялась и, какъ-то странно смотря на меня, спросила:

— Что должна я ему отвѣтить? Вѣдь, ты одинъ можешь дать мнѣ совѣтъ. Но, ради Бога, подумай сперва хорошенько!

«Быть или не быть?» подумалось мнѣ, и я отвѣтилъ ей:

— Ради твоего блага, ради будущаго, какъ мнѣ ни

больно, но все-таки я долженъ посоветовать тебѣ: принять предложеніе.

— Хорошо! отвѣчала она.—Такъ скажи ему, что я глубоко тронута его предложеніемъ, что я постараюсь вознаградить его за его довѣріе ко мнѣ, что я согласна сдѣлаться его женой, когда онъ захочетъ.

Я поцѣловалъ ее и ушелъ изъ дому, чтобы передать этотъ отвѣтъ незнакомцу. У меня какъ гора съ плечъ скатилась. Поздно вечеромъ вернулся я домой въ этотъ день. Что жъ ты думаешь? Мама переселилась изъ нашей общей спальни въ отдѣльную комнату—и заперлась тамъ на ключъ. Такъ прошло дня три—четыре. Мы почти не видались и не говорили. Терпѣть не могу слезъ, а распухшіе, красные глаза Маши такъ и говорили мнѣ, что только передо мной она подавляетъ свои слезы. Я только тутъ понялъ, что вѣрно она рассчитывала выйти за меня замужъ... Но могла ли она думать, что я весь вѣкъ останусь съ ней?... На пятый день я самъ заговорилъ съ нею. Она отвѣчала мнѣ кротно, но уклонялась отъ всякихъ ласкъ. Страненъ человѣкъ! Вдругъ я совершенно переѣмнился: сидѣлъ цѣлый день дома и не спускалъ глазъ съ Маши, стараясь хоть мимоходомъ пожать ей руку или поцѣловать ее. Она всегда тихо улыбалась, но ни разу сама не поцѣловала меня. Повѣришь ли, что я, смѣющійся надо всѣми, сталъ выпрашивать отъ нея хоть добраго слова, хоть одного братскаго поцѣлуя. Ежедневно при-

ходилъ ея женихъ и оставался у насъ часъ, послѣ чего уходилъ къ своей работѣ. Что жь! Я сталъ ее ревновать къ нему. Для меня сдѣлались мученьемъ эти часовыя ежедневныя свиданья. Иногда ночью я вскакивалъ съ постели и цѣлые часы проводилъ у ея дверей, умоляя ее впустить меня. Ни слезы, ни просьбы, ни угрозы не дѣйствовали на нее. Что жь ты думаешь? Нѣтъ, ты не повѣришь... Разъ утромъ, поймавъ ее, я почти насильно заставилъ ее меня выслушать, я на колѣняхъ—понимаешь—на колѣняхъ упрашивалъ, чтобъ она вышла за меня замужъ.

— Очень просто! замѣтилъ я.—Ты только тогда и понималъ, что, дѣйствительно, любилъ ее.

— Вздоръ! перебилъ меня Аральскій.—Это было, просто, ненормальное настроеніе нервовъ. Глупое непониманіе напряженнаго состоянія...

— Маша была рада твоему предложенію? Что она тебѣ отвѣчала? спросилъ я.

— Еще бы! отвѣчалъ Аральскій.—Какъ ей было не радоваться! Она бросилась мнѣ на шею съ какимъ-то восторженнымъ порывомъ. Она какъ-то вдругъ вся просіяла. Но не надолго: она вдругъ переимѣнилась и, бросившись отъ меня, убѣжала въ свою комнату. Долго я ходилъ, прислушиваясь и ожидая отвѣта. За дверьми я слышалъ, что она громко, громко рыдала. — Вообрази! Она мнѣ отказала—и въ тотъ же день переѣхала на другую квартиру. Я также рѣшился уѣхать и на

слѣдующій день уѣхалъ въ Гомбургъ. Въ Гомбургѣ я проигрался въ пукъ и прахъ и, представь себѣ?—какъ рукой сняло. Вотъ оно, что значитъ напряженіе страстей и непониманіе ихъ. Вотъ до какихъ глупостей это незнаніе можетъ довести человѣка. Въ другой разъ ужъ не попадусь...

Аральскій кончилъ, и я посмотрѣлъ на него. Онъ совершенно спокойно смотрѣлъ на гуляющихъ, мѣшая ложкою поданный ему лимонадъ. Ни въ голосѣ его, ни во взглядѣ не было и въ поминѣ всего прожитаго.

— А не правда-ли, что у Маши былъ странный характеръ? вдругъ обратился ко мнѣ Аральскій.—Я никакъ не могу понять ее...

— А, вотъ, ты постарайся—пойми!

ПОРЧЕНЫЕ.

I.

БОЖІЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Однажды я принужденъ былъ остановиться въ одной изъ деревень царскоеельскаго уѣзда и обратиться къ помощи мѣстнаго доктора. Проходя въ будничнѣйшій день мимо сельской церкви, мы, т. е. я и докторъ, къ крайнему нашему удивленію, услышали въ церкви какой-то необыкновенный шумъ. Каждый разъ, какъ дверь въ церкви отворялась, до насъ долетали неистовые крики, сливавшіеся съ глухимъ, однообразнымъ пѣніемъ. Мы остановились въ изумленіи и стали прислушиваться.

— О-о-охъ помогите, помогите! кричалъ женскій голосъ.

— Пресвятая Богородица, помилуй насъ! раздавалось громкое пѣніе мужскаго голоса.

— Что такое? вырвалось у обонхъ насъ, и мы, быстро взойдя на паперть, отворили дверь въ церковь.

Нашимъ глазамъ представилась странная сцена...

Посреди переви стоялъ аналой; у аналая дьячекъ монотоннымъ, тихимъ голосомъ читалъ псалмы. Передъ аналоемъ, на полу, въ страшныхъ судорогахъ, лежала баба лѣтъ двадцати, стоная и по временамъ громко вскрикивая. По обѣимъ сторонамъ несчастной стояли двое мужчинъ; одинъ — красивый парень лѣтъ двадцати пяти, щеголевато одѣтый въ синій кафтанъ, въ глянцовитыхъ сапогахъ; онъ оставался совершенно невозмутимъ, не обращая никакого вниманія на несчастную женщину, изрѣдка лишь осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. Другой поразилъ меня съ перваго взгляда своимъ страннымъ лицомъ: онъ былъ страшно худощавъ; въ большихъ, сѣрыхъ глазахъ его выражалось что-то неподвижное и торжественное; голова его была обрита. Онъ пѣлъ громко и протяжно отрывки изъ псалмовъ и молитвъ, неимѣвшихъ между собою никакой связи.

— Елицы во Христа крестистесе—слышался громкій его голосъ:—Изыдите, оглашенные, изыдите, милость мира, жертвъ поклоненіе, отреклись, отреклись! проторалъ онъ вдругъ, все болѣе и болѣе возвышая голосъ.

Мужикъ этотъ былъ покрытъ рубищемъ; плохая, парусинная рубаха мѣстами была прорвана, чрезъ плечо висѣла сума, изъ которой выглядывали черствыя корки хлѣба.

Кромѣ нихъ, въ церкви находилось еще нѣсколько бабъ, съ любопытствомъ смотрѣвшихъ на несчастную, вопли которой смѣшивались съ дикимъ, бессмысленнымъ завываньемъ.

Докторъ, бывшій со мною, послѣ первой минуты недоумѣнія, подошелъ къ лежащей на полу бабѣ и нагнулся съ цѣлью осмотрѣть несчастную.

Но въ эту минуту, къ нашему удивленію, всѣ присутствующіе бросились къ доктору и съ силой оттолкнули его.

— Что ты это, батюшка, аль рехнулся? раздалось кругомъ: — не видишь развѣ... что она кликуша. Вишь духа выгоняютъ. Незамай ихъ, это не впервые: какъ въ церковь прійдетъ, такъ и начнетъ биться.

Но докторъ, вспыхнувъ отъ негодованія, съ силою оттолкнулъ удерживающихъ его и почти закричалъ на нихъ:

— Это гнусно — оставлять несчастную такъ мучиться. Милостивый государь, помогите мнѣ, обратился онъ ко мнѣ.

Онъ сталъ держать женщину за руки, поручивъ мнѣ держать ея ноги, которыя, судорожно стягиваясь, перевортывали несчастную то на одну сторону, то на другую, заставляя ее биться объ полъ.

Докторъ досталъ изъ кармана свою походную аптечку и, смочивъ какимъ-то лекарствомъ свой платокъ, приложилъ его къ лицу кликуши, которая вдругъ затихла.

— Нехристь, что дѣлаетъ! слышалось въ толпѣ. Стоявшій подлѣ парень съ бритою головою продолжалъ пѣть:

— Хвали-и-те имя Господне, хва-а-л-ли-и-те Его въ вышнихъ.

— Да перестань же, наконецъ! обратился къ нему нетерпѣливо докторъ.

Парень посмотрѣлъ на него какъ-то бессмысленно и, непереставая пѣть, тихими шагами вышелъ изъ церкви.

— Да возрадуются сердца наши. Вонмемъ, вонмемъ! все, возвышая голосъ, пѣлъ онъ.

Лежавшая на полу баба стала приходить въ себя. Странно, что въ продолженіи ея судорогъ и крика, глаза ея оставались широко раскрытыми, но лишь только судороги прекратились, она, опустивъ голову на грудь приподнявшаго ее доктора, закрыла глаза и оставалась изнеможенная, какъ будто въ полусонномъ состояніи.

Тутъ я могъ осмотрѣть ее. На правильномъ лицѣ ея лежалъ какой-то отпечатокъ удивительной нѣжности. Даже послѣ ея страшныхъ страданій виднѣлось въ выраженіи ея лица какое-то безграничное чувство спокойствія и доброты.

Открывъ глаза, она осмотрѣлась и, увидѣвъ красиваго парня въ синей чуйкѣ, тихо улыбнулась ему и прошептала:

— Не сердись, родимый, ей-ей не грѣшна.

Мы оба посмотрѣли на парня.

Онъ, видимо, стоялъ подъ гнетомъ какого-то неопредѣленнаго, смутнаго чувства.

— Божья на то воля, пробормоталъ онъ:—безъ причины не наказываетъ.

Кликуша стала тихо плакать.

Не знаю отчего,—но я почувствовалъ въ эту минуту какое-то братское состраданіе къ этой несчастной женщинѣ. Вѣроятно, внутреннее чувство говорило мнѣ, что въ ея тихихъ слезахъ таилось невысказанное, глубокое горе.

Кликуша, наконецъ, встала, и, опираясь на руку парня, вышла изъ церкви.

Мы пошли за ними. На паперти, съ обнаженною головою, стоялъ на колѣняхъ тотъ нищій, который пѣлъ въ церкви, и клалъ земные поклоны.

Выходившія изъ церкви бабы крестились и подавали ему мѣдные гроши, приговаривая:

— Отецъ Давидъ, помодись за насъ, грѣшныхъ.— Хвала Всевышнему! Воздадимъ Господу нашему! отвѣчалъ нищій, идя вслѣдъ за кликушей.

Докторъ вошелъ въ избу, въ которую вошла кликуша, а я остался подождать его на улицѣ.

Черезъ четверть часа докторъ вышелъ и мы отправились на постоянный дворъ.

— Что вы обо всемъ этомъ думаете? спросилъ я его.

*

— Интересный субъектъ душевной болѣзни, отвѣчалъ докторъ.

— А можно это вылечить?

— Отчего же нѣтъ; если организмъ силенъ, то онъ возьметъ перевѣсъ, и больной выздоравливаетъ; если же организмъ слабъ, то больной или умираетъ, или же сходитъ съ ума. Выздоровленіе можетъ послѣдовать, конечно, только тогда, когда соблюдены всѣ предохранительныя мѣры, для избѣжанія повторенія такихъ припадковъ. Напримѣръ, для этой несчастной, просто—грѣхъ, до полного ея выздоровленія, пускать ее въ церковь. Она, вѣроятно, очень впечатлительна, да притомъ у нея страшное нервное разстройство. Понятно, что нервная система ея, потрясаемая сильными впечатлѣніями въ церкви, не можетъ выдержать. Оттого и припадки эти, которые въ простонародьи называютъ бѣснованьемъ. Даже мужъ ея, красивый этотъ парень, называетъ ее кликушей. Кликушей! повторилъ докторъ съ негодованіемъ. Это просто несчастная нервная женщина.

Мы вошли въ избу постоялаго двора и спросили себѣ чаю.

— Крайне не нравится мнѣ этотъ парень, продолжалъ докторъ, лишь только мы успѣлись.—Это какое-то холодное, бездушное существо! Вообразите: какъ только мы вошли, и она едва держалась на ногахъ, онъ успѣлся спокойно на скамью и приказалъ женѣ

ставить самоваръ. Жаль, что вы не видали: съ какимъ укоромъ она посмотрѣла на него. Признаться, я привыкъ ко всему, уже окаменѣлъ не много, а все-таки меня отъ этого взгляда передернуло. Я не вытерпѣлъ и сказалъ ей мужу—щеголю: иди самъ ставь самоваръ; какъ же это ты жену свою моришь. Онъ усмѣхнулся и отвѣчалъ:

— А что съ ней сдѣлается!

— Истинно, батюшка, вы говорите, что изведетъ онъ ее, несчастную! вмѣшалась хозяйка постоялаго двора, толстая баба, сидѣвшая тутъ же.—Слышу я, батюшка, что вы о вликушѣ-то нашей говорите.

Мы отвѣчали, что, дѣйствительно, о ней толковали.

— Ахъ, кормильцы, до конца доканаетъ онъ ее, бѣдную, говорила словоохотливая хозяйка.—Вѣдь, что за краля она была, бѣлая такая, просто кровь съ молокомъ. А теперь—что жилы да кости. А все по его винѣ, окаяннаго: испортили ее, ни за что — ни про что... продолжала она, понизивъ голосъ.

Хозяйка наша—баба лѣтъ пятидесяти. Гладко приглаженные ея волосы покрыты платкомъ. Глаза у нея добрые, маслянистые. Говорить она очень скоро и не перевода духа.

— Вы бы меня, отцы родные, чайкомъ угостили, вдругъ обратилась она къ намъ:—будемте компанію вести.

Мы оба, конечно, согласились и стали расспрашивать ее о кликушѣ.

— Скажите, пожалуйста, обратился я къ ней:—давно съ ней эти припадки случаются?

— Да годика съ полтора, какъ нечистый въ ней сидитъ, съ убѣжденіемъ отвѣчала хозяйка:—все съ того времени, какъ ее испортили.

— Какъ это испортили? полюбопытствовалъ докторъ.

— А вотъ какъ, батюшка: я все это дѣло о ней расскажу. Видите, родимые: она изъ хорошаго дома, нашего старшины дочка—и богатая была. Молодцовъ—жениховъ, что насчитывалось! Страсть! Всѣ противны ей были, одинъ только вотъ Михай—онъ извозомъ занимался: зелья что ли онъ ей далъ,—она въ немъ души не чаяла. И вѣдь гожіи онъ собой, вражіи сынъ, нечего сказать! Онъ за ней все ухаживалъ, да отецъ о свадьбѣ и слышать не хотѣлъ. Ну, уговорила она таки отца, и свадьбу знатную сыграли: всю церковь освѣтили, да-съ! Дуня—что тебѣ птичка пѣла! Со стороны глядѣть—и то весело было. Такая радость была, что и сказать нельзя... А мужъ ея все извозничалъ. Приѣдетъ онъ, бывало, изъ Питера раза два въ недѣлю и побудетъ съ нею. Она за околицу ходила все встрѣчать его. Какъ минулъ второй годокъ, видимъ мы: что тутъ что-то не ладно. Дуня блѣднѣть стала, а мужа-то ея никогда и въ селѣ не видать. У ней онъ всѣ

деньги на себя записалъ. Дуня видитъ, что мужу опротивѣла, грустить стала. Научилъ ее кто-то—въ Питеръ съѣздить, на мужа посмотришь. Ну, поѣхала... Входитъ это она къ нему, и что же: сидитъ онъ этакъ съ другой бабой и съ ней балясы ведетъ, а женѣ-то говоритъ: «ты что пріѣхала, незванная? проваливай, у меня вишь жена почище тебя!» Мерзавецъ! право, мерзавецъ! А баба-то, что сидѣла, такъ и хохочетъ, безстыдница. Вотъ съ той поры и испорчена Дуня: что съ ней сдѣлали, сама незнаю. А, вѣдь, есть же злые люди, что могутъ всякаго испортить.

Мы переглянулись съ докторомъ.

— А Михай-то въ гробъ ее свести хочетъ, позорить онъ ее, какъ только можетъ! рассказывала хозяйка. —Вотъ и живетъ она, одна, точно отшельница какая, никого къ себѣ не пускаетъ. На селѣ ее бояться стали: теперь избу-то ея не пройдутъ, не перекрестившись. А она-то въ чемъ виновата, бѣдняжка?.. Хозяйка стала при этомъ утирать передникомъ свои влажные глаза. —Только съ однимъ божьимъ человѣкомъ бесѣду и ведетъ: она съ нимъ молитвы читаетъ. Онъ одинъ у насъ не боится Дуни—привыкъ ужъ, значить больно.

— Какой это божій человѣкъ? спросилъ я.

— А не видали ли вы, батюшки, нищенкаго, та-кого блѣднаго, въ церкви-то? Святой онъ человѣкъ, родные вы мои!

— Какъ! Этотъ, что все молитвы поетъ? спросилъ я.

— Онъ самый, кормилецъ — такой святой жизни человекъ, и сказать нельзя. Всѣ молитвы знаетъ. Все по священному писанію истолковать можетъ. На Святой недѣлѣ и куска хлѣба въ ротъ не возьметъ: все одной водой питается. На сырой землѣ спать... Онъ Дунѣ одинъ и подмога. Ей онъ дровъ принесетъ, за водой сходить и сидитъ все передъ хатой, въ нея не войдетъ.

— Что онъ — сумасшедшій? спросилъ докторъ.

— Какъ можно? перебила его хозяйка: — онъ — Божій человекъ; я его махонькимъ помню.

— А онъ здѣшній? спросилъ я.

— Какъ же, батюшка, отецъ его нашего прихода дьячекъ былъ. Вѣдь, онъ и грамотѣ обученъ, въ семинаретѣ учился, ученый человекъ!..

— Что-жъ, онъ также испорченъ? освѣдомился докторъ.

— Помилуй, батюшка, какая тутъ порча! Онъ наследуетъ царство небесное. Онъ издавна, съ малолѣтства, богобоязливый былъ; а подростать сталъ, все потомъ на клиросѣ пѣвалъ. Хотѣлъ и онъ на Дунѣ-то жениться, да негодъ ей былъ. Хворалъ онъ тогда; грустѣть такъ тутъ и остался, а теперь все передъ домомъ Дуни сидитъ, не отогнать его; такъ и помретъ онъ передъ ея окошками. Святой онъ человекъ, батюшка, святой!

Мы оба вновь переглянулись съ докторомъ.

— Экипажъ готовъ! вошелъ доложить хозяинъ.

Мы разстались съ докторомъ, стоворившись опять съѣхаться черезъ недѣлю, провѣдать Дуню.

Проѣзжая мимо избы еликуши, я замѣтилъ юродиваго: онъ сидѣлъ передъ окнами на пнѣ и, перебирая четки, тихимъ, протяжнымъ голосомъ напѣвалъ:

— Спаси, Господи, люди твоя!...

II.

САДОВНИКЪ.

Пріѣхалъ я сегодня въ имѣнье къ тетускѣ своей Е. В. Э. погостить дня три или четыре. Пріѣхалъ я рано, часовъ въ 8, и узналъ, что хозяйка никогда ранѣе десятаго часа не встаетъ. Отъ нечего дѣлать я пошелъ бродить по широко раскинутому парку. Въ концѣ одной изъ аллей заблестѣла серебристая поверхность воды, и я подошелъ поближе. Мнѣ представилась живописная картина въ русскомъ деревенскомъ вкусѣ. Передо мною раскидывалось озерцо, поросшее травой и покрытое тиной. Тутъ и тамъ блестѣли широколистные менифарты съ ихъ бѣлоснѣжными цвѣтками, водяныя лиліи и мѣстами выдѣлялись желтыя маковки. Изъ голубой поверхности воды мѣстами поднимались тростниковые островки, которые отражались своими длинными колосьями въ водѣ.

На противоположномъ, высокомъ берегу раскиды-

валась деревушка съ кажушимися издали живописными избами, съ полуобвалившимися крышами и съ грудями запасенныхъ бревенъ. На бревнахъ сидѣли группами ребятишки, о чемъ-то горячо и громко толкуя. Въ сторонѣ—налѣво отъ деревни—уныло махали крыльями двѣ убогія мельницы. Направо же, неподалеко отъ дороги, поднималась какая-то странная постройка. Видно было, что начата она уже давно. Постѣрвшія стѣны, съ прорубленными окнами и дверями, съ непокрытою крышей, тщетно уже ждали нѣсколько десятковъ лѣтъ, чтобы ихъ укрыли отъ непогодъ. Огромный двухъ-этажный четверугольникъ рѣзко выдѣлялся среди окружающей его мѣстности, какъ рѣзкостью своихъ контуровъ, такъ и величиною своихъ размѣровъ. Я никакъ не могъ понять: къ чему могла быть предназначена эта постройка, стоявшая въ сторонѣ отъ селенья.

Гуляя по парку, я наткнулся на оранжерею и молодую школу деревъ. Замѣтно было, что садовникъ—охотникъ и любитель своего дѣла. Дорожки были чисто выметены, а на растеніяхъ отдѣльныхъ породъ висѣли ярлычки съ обозначеніемъ ихъ имени. Къ немалому моему удивленію я прочелъ на дощечкѣ одной изъ клумбъ, цвѣты которой лишь только начинали разцвѣтать, надпись: «scola iablonia gasnaia», на другой: «gorochicus duchisticus». Я думалъ уже разсмѣяться надъ этими доморощенными, quasi-латинскими прозвищами,

какъ вдругъ я увидѣлъ изъ-за зелени два большіе сѣрые глаза, пристально смотрѣвшіе на меня. Я поднялъ голову и увидѣлъ старика лѣтъ 60, серьезно поглядывавшаго на меня съ чувствомъ собственнаго достоинства. Лице у него было морщинистое, сухое, окаймленное рѣдкою, сѣдою бородою. Изъ-подъ поношенной соломенной шляпы выглядывали серебристые, длинные волосы. Въ немъ всего болѣе поражали глаза: большіе, сѣрые, съ какимъ-то страннымъ, задумчивымъ выраженіемъ.

— Что вамъ нужно? спросилъ онъ меня довольно грозно.

— Я хотѣлъ осмотрѣть оранжерею! отвѣчалъ я ему.

— Когда же вы пріѣхали? спросилъ опять онъ.

— Сегодня утромъ! былъ мой отвѣтъ.

— Значить, вы у племянника ея превосходительства въ услуженіи находитесь? продолжалъ несносный старикъ.

Долженъ я признаться, что вопросъ этотъ далеко не пришелся по вкусу моему самолюбію—но не знаю отчего.—я ничего ему не отвѣчалъ. Садовникъ подошелъ ко мнѣ и, облокотясь обѣими руками на лопату, спросилъ меня:

— Откуда вы пріѣхали?

— Изъ Питера!

— Я самъ былъ въ Питерѣ! замѣтилъ онъ важно.

— Когда же это? спросилъ я.

— Лѣтъ 30 тому назадъ — въ ученіе туда посылали, все при ученыхъ садахъ находился.

— Какъ васъ зовутъ! спросилъ я его.

— Голленбунденъ! отвѣчалъ онъ важно.

— Стало быть, вы изъ нѣмцевъ? замѣтилъ я.

— Какое «изъ нѣмцевъ!» Я тутъ дворовымъ былъ....

— Странно!

— Это вы все на счетъ прозвища-то... Меня попросту-то Михайломъ Шестоперовымъ зовутъ. А этакъ-то я самъ себя прозвалъ...

— Отчего же именно—Голленбунденъ?

— Такъ-съ!.. имя знатное! отвѣчалъ онъ совершенно серьезно.

— Значить, это вы на дощечкахъ прозвища-то пишете? спросилъ я, чуть не расхохотавшись.

— Конечно, я!... Вотъ вамъ-то и не вдомакъ, а намъ-то безъ именъ сортировать растенія никакъ нельзя: сейчасъ собьешься съ толку.

— Само собой разумѣется! поддакнулъ я. — Скажите, пожалуйста, спросилъ я его, идя съ нимъ по берегу озерка, указывая рукой на большую постройку—къ чему предназначалась эта постройка?

— Хотѣлъ, было, я постоянный дворъ открыть.

— Что жъ вы не докончили его?

— Да такъ-съ... Въ ненужность, значить, пришелъ...

Мы шли по берегу озера, отъ времени до времени перекидываясь словами.

— Отчего это вы не очистите это озерцо? спросилъ я его наконецъ.—Теперь его вычистить легко, а лѣтъ черезъ пять оно совсѣмъ подернется тиной...

— Ни-ни-ни! отвѣчалъ мнѣ испуганно садовникъ.

— Озерцо это никогда не заплѣснѣетъ. Въ серединѣ-то его глубь страшная... и потомъ шопотомъ садовникъ прибавилъ:—а чистивши только, русалокъ потревожимъ.

— Какихъ это русалокъ? спросилъ я.

— А развѣ вы о русалкахъ не слышали, что въ водѣ-то живутъ. Молоденькія онѣ всѣ такія-да пригожія. Волосы-то у нихъ распущены, травами да раковинками убраны.

Я посмотрѣлъ на г-на Голленбундена въ недоумѣніи. Я полагалъ, что онѣ шутить. Нѣтъ—въ глазахъ его я ясно прочелъ, что все, что онѣ говорилъ, для него сущая правда.

— Да развѣ вы ихъ видѣли?

— Сколько разъ... да только одну! Вотъ когда озеро точно туманомъ накроетъ, я на берегу сижу и смотрю, какъ онѣ рѣзвятся и тѣшатся.

— И много вы ихъ видѣли? спросилъ я.

— Много-то много! Она знатъ старшая у нихъ, ей все дозволяется. Другія, какъ къ берегу подплывутъ, на людей-то посмотрѣтъ, такъ тамъ и застынутъ—помрутъ, значитъ. Вонъ гляньте-ка, продолжалъ старикъ,

указывая на цѣлыя поля водяныхъ лилій: — все русавины гробницы.

— Когда же вы ее видите? спросилъ я невольно, озадаченный.

— Да какъ скучно мнѣ станетъ — больно грусть подойдетъ, — вотъ выйду я на озеро да и стану подслушивать: какъ имъ беззаботно весело, да и на нее поглядываю.

— О чемъ же это вы все грустите? спросилъ я.

— Дочь у меня пропала, отвѣчалъ Голленбундъ не охотно.

— Какъ пропала? спросилъ я.

— Такъ и пропала, — отвѣчалъ онъ, — лѣтъ пятнадцать тому будетъ.

— Взрослая ужъ была?

— Двадцать третій годъ ужъ ей пошелъ, когда пропала; всему обучена была, на четырехъ языкахъ говорила, за границей не разъ была, а писать какая мастерица, всѣхъ писарей могла бы обогнать! А развѣ вы не слыхали о ней? спросилъ онъ вдругъ меня. — Странно... о ней весь уѣздъ зналъ.

— Въ первый разъ слышу! отвѣчалъ я. — Расскажите мнѣ, пожалуйста, попросилъ я, усаживаясь съ нимъ на скамейку.

— Видите, сталъ онъ рассказывать, жилъ я со старухой своею, (давно это было), жили мы тогда, конечно, въ бѣдности. Двое дѣтей у насъ было: Ми-

ша — сынъ, да Параша—дочь, и что за дѣти были— просто заглядѣнье! бѣлыя такія, кудри такъ и вьются, и на картинкѣ лучше не напишешь; всѣ, бывало, на нихъ не наглядятся... Одинъ говоритъ: «дай мнѣ Мишу», а другой: «дай Парашу». Въ люди, говорятъ, ихъ выведемъ. Что, думалось, намъ съ женой, не враги же мы дѣтямъ, да и рѣшились... Мишку Ветлугинымъ отдали, что въ Сосновкѣ живутъ, а Парашу—самой княгинѣ Войводовой. У княгини одинъ сынъ только былъ, и тотъ въ Петербургѣ въ военной школѣ обучался. Ей-то и скучно было одной, и полюбила она Парашу, что дочь родную, разодѣла ее въ шелкъ. Зимой въ Питеръ, а въ Москву ѣздила, а то за границу поѣдетъ, учителей дала Парашѣ, всему обучила. Всю зиму бывало съ женою прождемъ, а лѣтомъ у насъ—праздникъ: каждый день бывало пріѣзжали къ намъ—родителей не забывали. Ну, просто бы не наглядѣлся на нихъ! Всѣмъ въ зависть было... Долго жили мы такъ, зная только радости и веселье. Деньги даже завелись у насъ тогда, а въ ту пору у насъ на рѣдкость это было. Давно уже все это было—а я-то помню, точно, вчера случилось. И какъ не помнить-то мнѣ! Вѣдь, почитай, въ мѣсяцъ всего лишился.

— Разъ ночью (въ самый Петровъ день это было), кто-то въ окно постучалъ. Жена съ палатей слѣзла, да къ окну подошла. «Вставай, кричитъ: Параша пріѣхала!» Мнѣ-то и не въ—домекъ, а въ сердцѣ такъ и стук-

нуло. Не къ добру, знаты! подумаль я. Слѣзъ я да къ окну и подошелъ. Мѣсяцъ и звѣзды свѣтять — точно днемъ свѣтло. Стоитъ наша Параша блѣдная да исхудалая такая; рядомъ съ ней — телѣга съ кляченкой дряненькой. Что за диво? думалось мнѣ. Бывало, Параша завсегда къ намъ въ каретѣ аль въ тарантасѣ ѣздила. Всегда-то съ ней и лакей въ мундирѣ ѣзжалъ — а теперь въ телѣгѣ да одна... Пошелъ я ворота отворить, а у самого руки и ноги трясутся. Отперъ я ворота... Мнѣ Параша такъ на руки и упала, и плачетъ сама — такъ и надрывается... «Померла княгиня, говоритъ, — ударъ съ ней былъ — а меня-то изъ дому выгнали». И жаль-то ей княгиню, да и обидно тоже, безъ малаго всю жизнь у княгини полной хозяйкой жила — да вдругъ и выгнали. Князька-то молодого тогда не было — за границей гдѣ-то проживаль. Былъ-бы онъ, такъ ни за что бы не согнали. Опекунъ-то золъ на Парашу былъ, а за что — и по сію пору не знаю. Такъ онъ-то и велѣлъ, со злости, ее въ деревню свезти...

Мы-то, признаться, съ женою рады были. Параша намъ точно счастье и свѣтъ принесла. Не то, что она весела была, нѣтъ — тихонькая она завсегда была, а когда улыбнется, точно солнышко пригрѣетъ. Нечего было дѣлать, приютили мы ее, какъ только могли получше: одѣли попроще, да и стали жить, на нее, голубушку, любуясь. Сталъ я думать, какъ-бы развеселить ее, да и придумаль я постоянный дворъ открыть. Все,

думалось мнѣ, ей-то вольготнѣе будетъ жить въ хоромахъ хорошихъ, чѣмъ всѣмъ вмѣстѣ—въ избѣ одной. Да, вѣдь, и проѣзжіе останавливаться будутъ, ей-то и веселѣе станетъ. Вотъ и началъ я строить... вишь, машину какую выстроилъ! продолжалъ старикъ-садовникъ, указывая пальцами на постройку по ту сторону озера. — Ужъ подъ крышу подвели стѣны, ужъ-полы за...

— Александръ Владиміровичъ! доложилъ запыхавшійся дворецкій.—Тетушка проснулись, къ себѣ васъ просятъ.

Садовникъ былъ пораженъ, какъ громомъ: снявъ шапку, онъ стоялъ передо мной и, какъ ни старался я его уговорить—докончить мнѣ свой рассказъ, я не могъ отъ него ничего добиться.

Сидя на верандѣ, послѣ завтрака, и распивая чай, я рассказалъ тетушкѣ, что имѣлъ удовольствіе познакомиться съ г. Голленбунденомъ.

Тетушка улыбнулась и сказала мнѣ:

— Онъ немножко не въ своемъ умѣ. Вѣрно, онъ тебѣ о русалкахъ что нибудь рассказывалъ?...

— Видишь, Саша, продолжала старушка,—онъ отличный человекъ и очень хорошій садовникъ, но съ нимъ случилось много несчастій, и почти всѣ вмѣстѣ — вдругъ — и онъ послѣ нихъ никакъ не могъ оправиться. Вообрази, что онъ, въ теченіи какихъ-нибудь трехъ недѣль, лишился своего сына, который обу-

чался въ Москвѣ, а тутъ у него случился пожаръ ночью. Онъ тогда всего лишился, а жена его задохлась въ дыму, и ее никакъ не могли привести въ себя. У него оставалась только дочь одна. Помнишь ты Lise Voivodoff, — она у нея воспитывалась, а послѣ ея смерти она жила тутъ у князя, когда случился именно этотъ пожаръ. Было, право, странно смотрѣть, какъ этотъ садовникъ любилъ свою дочь — *surtout tu sais dans le peuple, c'est si extraordinaire* — онъ просто глазъ съ нея не спускалъ...

— И вдругъ съ ней случился тутъ цѣлый романъ. Весною — это было уже очень давно — пріѣхалъ сюда Serge Войводовъ — *tu sais celui qui est marié à la Sonsky* — ну и стали они съ Парашей почти все время проводить вдвоемъ. Вѣроятно, что прежде была между ними какая нибудь дѣтская интрижка. Они проводили всѣ дни вмѣстѣ, такъ что даже стали говорить, что онъ на ней женится, — *il y a donc toujours des cancans en province*. Вообрази, однажды онъ уѣхалъ, не простившись ни съ кѣмъ, часовъ въ пять утра. Въ тотъ самый день пропала и Параша. Всѣ предполагали тогда, что Параша уѣхала съ Войводовымъ, но я узнала черезъ много, много лѣтъ, что Войводовъ уѣхалъ одинъ; тогда никто не хотѣлъ вѣрить нашему старику-паству, который все утверждалъ, что, выгоняя утромъ скотъ на водопой, видѣлъ какъ Параша съ лодки въ прудъ бросилась. Съ тѣхъ поръ садовникъ перемѣ-

*

нился. Онъ все ждетъ свою дочь, но не можетъ дож-
даться. Я хотѣла нѣсколько разъ очистить озеро, но
старикъ просилъ, валяясь въ ногахъ моихъ, чтобы не
трогали озеро; онъ, вѣрно, боится, что если начнутъ
чистить озеро, то тамъ найдутъ его дочь...

Въ тотъ же самый день вечеромъ, прогуливаясь по
парку, я услышалъ чей-то голосъ, раздававшійся въ
безмолвномъ сумракѣ ночи. Подойдя поближе, я уви-
далъ при яркомъ, лунномъ свѣтѣ старика-садовника на
берегу озера. Онъ сидѣлъ на скамьѣ и громко произ-
носилъ какія-то непонятныя, безсвязныя рѣчи. Послѣ
нѣсколькихъ словъ онъ останавливался, какъ будто
выжидая отвѣта. Его лице выражало непритворное
вниманіе, и на немъ я могъ прочесть то чувство не-
описанной радости, то выраженіе горестнаго чувства—
обманутаго ожиданія, смотря по отвѣтамъ, которые
ему слышались. Чтò были это за отвѣты, кто ихъ да-
валъ—про то знаетъ лишь онъ.

III.

Яличникъ.

Было уже совсѣмъ темно, когда я вышелъ отъ одного своего товарища, жившаго на Обуховскомъ заводѣ (по Шлиссельбургскому тракту). Я надѣялся еще застать дилижансъ, но онъ давно уже ушелъ, и какъ я ни кричалъ на всевозможные тоны: извозчикъ!.. извозчикъ!.. никто не откликался. Приходилось идти пѣшкомъ. Вдругъ меня озарила счастливая мысль: нанять яличника и вернуться въ Петербургъ водой. Ночь была тихая, теплая, но ужасно темная. Дойдя до перевоза, я едва могъ добудиться яличниковъ и, условившись въ цѣнѣ, отвалилъ отъ берега. На носу ялика стоялъ фонарь, тускло освѣщая всю лодку. Я могъ тутъ разсмотрѣть яличника.

Онъ былъ мужикъ большого роста, широкоплечій, съ мощными, смуглыми руками, выглядывавшими изъ рукавовъ его синей, полотняной рубахи. Лице у него

было обще-мужицкое, раскольниково-русское, т. е. правильное, довольно продолговатое, украшенное жесткою, большою, черною бородой. Долго плыли мы молча, влекомые сильным течением рѣки.

— Давно ли ты перевозомъ занимаешься? спросилъ я наконецъ, соскучась долгимъ молчаніемъ.

— Второй годъ.

— Чай, трудно.

— Вѣстимо, не легко. Да что станешь дѣлать, коль нужда...

— А прежде чѣмъ ты занимался?

— Рыболовствомъ, баринъ. Воды снималъ...

— Не выгодно, что ли?

— Какъ не выгодно, очинно даже выгодно... да силы нѣтъ снасти купить. Такое ужь, баринъ, со мной несчастье случилось. Всего сразу лишился.

— Развѣ у тебя дѣтей нѣтъ, что ты самъ работаешь?

— Нѣтъ, есть сынъ одинъ, да негожъ.

— Какъ это—негожъ? спросилъ я съ удивленіемъ.

— Попорченъ онъ у меня, отвѣчалъ яличникъ уныло.

— Чтожь это съ нимъ случилось?

Яличникъ поднялъ весла и далъ ялику нестись по теченію. Въ это время всходила луна и засеребрила гладкую поверхность воды.

— Вишь, баринъ, началъ словоохотливый ялич-

никъ.—Самъ я—Шлиссельбургскаго уѣзда; въ селѣ Рыбакомъ—чай слышали—проживалъ. Все съ малолѣтства рыболовствомъ занимались. Чего Бога гнѣвить, жили мы въ довольствѣ: изба исправная, скотинка водилась. Хозяйка-то у меня была баба аккуратная—дѣло свое знала. Дѣтей-то у насъ немного было—всего одинъ сынъ. Такого парня вырастили, что, просто, всѣмъ въ зависть. Высокій такой, волосы—что вороново крыло. А дѣло свое любилъ какъ!... Иной разъ вѣтеръ подыметъ, всѣ по хатамъ запрячутся, а мы-то съ Ваней—въ лодку да на озеро. Пташкой мчимся, стрѣлой летимъ. Чѣмъ вѣтеръ сильнѣй, тѣмъ Ванѣ веселѣе. Пѣсню запоетъ молодецкую—и пѣль-то какъ—всѣ бывало заслушивались, какъ онъ въ хороводѣ затянетъ... Сталъ онъ что-то скучать вдругъ. На работу выйдетъ, не поетъ. Невода станетъ закидывать, все нехотя. Вечеромъ, бывало, никогда и дома его не найдешь, а тутъ вдругъ по цѣлымъ вечерамъ у оконца сидитъ, да на улицу поглядываетъ. Намъ-то съ женой и не-вѣдомекъ.

Наступилъ Ванѣ двадцать-первый годъ. Стали мы съ женой о томъ думать, какъ бы сына женить. Все невѣсты почище не могли мы найти. Ну, нашли наконецъ — старшины сосѣдней волости дочку стали сватать. Такъ нѣтъ, — заартачился мой Ваня. Не хочу ее, да и только! А коли хотите женить, такъ кромѣ Парашки хозяйкой никого не возьму. Парашка-то эта —

дочь Михѣя слесаря—была. Озорникъ такой, на всю волость извѣстенъ, да и дочка-то въ отца. Два года въ Питерѣ прожила, такъ ужъ, знамо дѣло, толку въ ней мало найдешь. Больно ужъ не по сердцу мнѣ было. Да не врагъ же я сыну—сватовъ послали, и дѣло по-рѣшили. Сговоры были, собралось безъ малаго все село. Ваня мой точно ожилъ, разухабистый такой сталъ, а у меня-то сердце все не къ добру лежало. Слышалъ я, что ее за околицей раза два съ батракомъ Кузьмой встрѣчали. Кузьма-то этотъ разбитной былъ, такъ шатающійся какой-то. Разъ утромъ ко мнѣ жена-то къ озеру со всѣхъ ногъ бѣжить, да и машетъ намъ вернуться. Что за диво такое? Подошли мы. «Параша пропала! кричить.—Съ вечера и слѣдъ ея простылъ, и Кузьма ушелъ—говорять, съ нимъ бѣжала»... Ваня мой точно шальной сталъ, да и мнѣ-то съ женой ужъ больно обидно было, на всю деревню одурачили. Такъ ужъ зазорно было, что на глаза добрымъ людямъ три дня не показывались. Затомился мой Ваня. «Уйду, говорить въ Питеръ! Кузьма тамъ на суда нанялся, такъ, вѣрно, и Параша тамъ»... Сталъ я его уговаривать и упрашивать, такъ нѣтъ—все стоялъ-таки на своемъ.

Собрали мы снасти, двѣ лодки взяли, да и махнули въ Питеръ — на взморьи воды сняли верстѣ за семь отъ Питера. Днемъ мы на работѣ съ Ваней, а какъ вечеръ, такъ онъ, и давай Богъ ноги,—Парашу искать. И ужъ больно онъ скучный тогда былъ. Трехъ

словъ не скажетъ въ день. Разъ на утро стали мы снасти собирать—больно ужъ сильный вѣтеръ дулъ — да на взморье и выѣхали.

— Глянь-ко! говоритъ онъ мнѣ.—Это что?

Смотрю я и самъ въ толѣхъ не возьму. Вижу я, что то далеко на водѣ чернѣется. Судно, не судно—плотъ, не плотъ—какъ-то угломъ изъ воды выглядываетъ. «Ай-да, посмотримъ!» крикнулъ Ваня. Собрали наскоро мы снасти, подняли парусъ, да и летимъ стрѣлой. А вѣтеръ, что тебѣ ребенокъ—разыгрался. Небо черное стало. Такъ ужъ засвистало, что не приведи Господи!... «Никакъ люди на ней есть!» крикнулъ Ваня.—И въ самомъ дѣлѣ люди... Подплыли мы ближе, смотримъ: тихвинка объ мель разбилась. Волны такъ черезъ нея и хлещутъ; на кормѣ двое мужиковъ, да баба, цѣпляясь сидятъ, да намъ руками машутъ. Ваня мой точно другой сталъ...

— Долой парусъ! кричить.—Якорь готовы! Не подойти, такъ—разобьется! Снасть подыми, заготовь!.. а самъ разуваться сталъ. — Дай руль направо! бросай якорь! кричить.

Стали мы на одномъ мѣстѣ, во все стороны качаясь; то вверхъ подыметъ, то внизъ броситъ. Завязалъ мой Ваня кругомъ тѣла конецъ снасти, да и бухъ въ воду. Плыветъ онъ, плыветъ, а я за нимъ снасть подаю. Иной разъ его волной совсѣмъ прикроетъ. Ужъ креститься стану, анъ опять онъ вынырнетъ —

плыветъ. Работаетъ мой Ваня, подплывать сталъ. Вдругъ его волна высоко подняла и бросила о корму тихвинки. У меня и въ глазахъ потемнѣло: думалъ, что въ дребезги разобьется — помиловалъ Богъ! за бортикъ уцѣпился Ваня и на корму влѣзъ. Смотрю я: стоитъ онъ на кормѣ и не двигается, точно истуканъ какой. Что за диво такое? думалось мнѣ. Вдругъ схватилъ онъ бабу — чтò, прислонившись, стояла — схватилъ ее, да съ нею въ море и бросился. Охъ, жутко мнѣ стало, руки и ноги затряслись. «Тани!» слышу и, вдругъ — гляжу — оба въ водѣ барахтаются. Сталъ я снасть подтягивать, а лодка такъ и пляшетъ, то ее на бокъ кинетъ, то впередъ, точно скорлупку какую. Какъ-бы вверхъ дномъ не перевернуло! думалось мнѣ.

— Тани! кричалъ Ваня.

Подплыли они, я едва и снасть не опустилъ. Баба-то — Параша была. Подняли мы въ лодку ее; Ваня точно въ хатѣ стоитъ — все забылъ. Стоитъ онъ, на нее не налюбуется. Вдругъ встрепенулся онъ.

— Ставь парусъ, подымай якорь! кричить, а самъ за работу принялся.

— Грѣхъ! говорю, — остальныхъ покидать.

— Давай парусъ! осерчалъ онъ. — Пускай, окаennyй, тонетъ!

— Грѣхъ, вѣдь!

— Ладно — грѣхъ! отвѣтилъ онъ мнѣ — а самъ, точно шальной, якорь тянуть сталъ да и за топоръ схватился —

канать перерубить. Вижу: не одобровать мнѣ съ нимъ. Вотъ я всё невода выкинулъ, а конецъ снасти—въ руки, да—перекрестившись—въ воду. Плыву я, а въ глазахъ темнѣетъ. Больно ужъ страшно было. Обернулся и вижу: Ваня-то на носу лодки стоитъ и высоко надъ головою топоръ держитъ. Прощай, головушка! думалось мнѣ. А Ваня всё стоитъ, такъ на меня и поглядываетъ, да вдругъ со всего размаху и бросилъ топоръ въ воду. Точно гора съ сердца свалилась. Сталъ я плыть бодрѣе. Кузьму спасъ я и въ лодку доставилъ. Третій-то, что на тихвинкѣ былъ, захлебнулся, горемычный, такъ волной и снесло его. Подняли мы парусъ да и якорь отрубили. Прямо подъ вѣтеръ на берегъ пошли. Ваня-то мой на рулѣ сидитъ, слова не вымолвилъ—все на Парашу смотрѣлъ. А она, безстыдница—обвила Кузьму-то за шею и цѣлуетъ, ласкаетъ его, точно насъ и въ лодкѣ не было. Ну, на берегъ доставили мы ихъ... Вотъ съ этой-то поры и не гождь Ваня мой сталъ. Вѣрно, когда я въ водѣ-то былъ, Парашка попортила его. Такъ, вѣдь, зря не бываетъ. Вишь, ехидная кака!.. чему научилась.

Яличникъ замолкъ и налегъ на веслы, точно онъ хотѣлъ забить—заглушить память о своемъ горѣ, сильными ударами весель. Луна ярко освѣщала теперь его обнаженную голову. Глаза его какъ-то особенно блестяли и смотрѣли куда-то въ сторону пристальнымъ взглядомъ.

Мы оба молчали долго.

— Скажи, обратился я къ нему наконецъ, получилъ ли ты медаль за спасенье погибающихъ?

— Совѣтовали мнѣ къ исправнику просьбу подать, отвѣчалъ онъ мнѣ, вострепнувшись, да что мнѣ въ ней, въ медали-то: сына она мнѣ не вернетъ.—Къ правому берегу приставать, что ли? Вдругъ, совсѣмъ другимъ голосомъ спросилъ онъ.

Я только тутъ очнулся:

— Къ правому! сказалъ я.

Съ тѣхъ поръ часто возвращался я съ завода во-
дой съ моимъ яличникомъ и—мы говорили съ нимъ о Ванѣ.

Въ послѣдній разъ, поздно осенью, онъ вдругъ объявилъ мнѣ, что на Пескахъ знахарка живетъ и что онъ къ ней Ваню отведетъ. «Добрые люди сказали мнѣ, закончилъ онъ, что она лихо порчу снимаетъ».

Съ тѣхъ поръ не приходилось мнѣ видать его.

ЮНОШЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.

ЮНОШЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.

(Повѣсть).

Давно уже лежали у меня письма моего товарища, Алексѣева. Его исторія—не изъ дюжинныхъ. Я сдѣлалъ изъ писемъ извлеченіе и, составивъ изъ нихъ отдѣльную повѣсть, рѣшился напечатать ихъ, хорошо зная, что читатель не разъ улыбнется надъ ними, вспоминая свое прошедшее.

* * *

Ты нѣсколько разъ просилъ меня рассказать тебѣ: что заставило меня такъ скоро поѣхать въ К. и кончить университетскій курсъ въ годъ, тогда-какъ я могъ бы окончить его не менѣе, чѣмъ въ 2 или 3 года, что дало бы мнѣ возможность прожить подольше тою жизнью, которую я такъ любилъ.

И какъ не любить нашу студенческую жизнь! У кого сердце не встрепенется, вспоминая о ней! Сколько молодости, отваги, душевныхъ впечатлѣній, каждый

найдетъ въ ней! А товарищество, студенческая дружба, чувство полной свободы—чѣмъ замѣняются они? Замѣняются они большею частью обыденною жизнью труженника, который, какъ зацѣпившійся паукъ, старается разорвать имъ самымъ сплетенныя сѣти—препятствій, лишеній, разочарованій.

Помнишь ты Бергера—вѣчнаго студента? Онъ ужъ 26 лѣтъ ведетъ все ту же жизнь и все находитъ въ ней отраду, какъ онъ ни смѣшенъ кажется самому себѣ и другимъ въ своей корпораціонной фуражкѣ, лихо надѣтой на его длинные волосы.

Я тебѣ пишу и по твоему желанію и по своему собственному: хочется мнѣ опять пожить старымъ—добрымъ временемъ, настрочить перомъ то, что заставляло меня жить, радоваться, терзаться...

Сидѣли мы разъ ночью съ Миллеромъ у меня за чаемъ—я только что тогда поступилъ въ университетъ—и, какъ теперь помню, мы толковали долго и горячо—о томъ, о семъ...

Помню я, какъ онъ, раскраснѣвшійся отъ спора, говорилъ мнѣ:

— Пойми, что у насъ есть что-то въ душѣ, что переработать не можемъ, какъ бы мы ни старались.

— Если ты разъ полюбишь, ты это самъ узнаешь; это, какъ бы тебѣ сказать, какъ нѣкоторые медицинскія средства, которые и излечиваютъ, и въ то же время портятъ организмъ на всю жизнь. Ты знаешь

мою исторію. Когда я любилъ, я былъ счастливъ. Любовь меня какъ-то расположила къ добру, къ хорошему, ко всему чудному; но любовь моя не нашла сочувствія, и я сдѣлался еще холоднѣе прежняго. Теперь-то я не вѣрю ни въ добро, ни въ зло, а лишь самому себѣ, т. е. въ то, что я вижу и что я осязаю... Горе дѣлаетъ самого себя какимъ-то кумиромъ... Я теперь смотрю на людей какъ-то съвысока, и твержу самому себѣ: «Что вы за люди! Развѣ вы можете понять то, что я чувствую? Я со своимъ горемъ живу въ тысячу разъ больше, чѣмъ вы всѣ изо дня въ день переживающіе пустоту вашей жизни».

Вѣдь, разумъ—какъ ты хочешь—твердитъ намъ, что ты не правъ, что ты толкуешь чужь, а сердце все свое беретъ и дѣлаетъ изъ меня такую крѣпость, которую приступомъ взять невозможно, которая лишь сдастся, когда всѣ силы ея истощатся — но ужь сдастся пустая, разоренная...

Мы весь вечеръ толковали съ Миллеромъ, и онъ—всегда такой молчаливый и сдержанный, разговорился за третьимъ теплымъ стаканомъ пунша...

Помню еще, какъ я ему возражалъ, что если у человѣка есть воля, энергія, сила, то онъ можетъ подать въ себѣ чувство любви и не понималъ еще тогда, что вся воля, энергія и сила человѣка именно порабощены любовью и составляютъ всю силу ея.

Въ самый разгаръ спора послышался стукъ у во-

ротъ, а затѣмъ знакомый голосъ Мейнгарда, поющего во все горло, какъ будто бы онъ одинъ былъ во всемъ городѣ.

«Früher, als der Morgenstrahl» — пѣлъ онъ.

Я послалъ мою aufwärterinn, или если бы можно было выразиться по-русски — убирательницу, Mariechen, — отпереть ворота. Ввалилось четыре студента.

— Du musst kommen ein Ständchen bringen — были первыя ихъ слова, но не въ первый разъ я ихъ слышалъ.

Мало, я думаю, и въ среднихъ вѣкахъ было трубадуровъ, которые такъ часто воспѣвали незнакомыхъ красавицъ, какъ я, состоя членомъ квартета. Пѣлъ я и дочери графини Ж., которую я никогда не видалъ, пѣлъ я и дочери моего портного — (которому былъ долженъ), пѣлъ я невѣстѣ одного изъ моихъ товарищей, — et cetera et cetera...

Пѣли мы, просто, оттого, что хотѣлось пѣть. Ночь бывала тихая, прекрасная, и потому-то намъ казалось, что видно маленькую головку за занавѣскою полуоткрытаго окна.

— Ну, сегодня кому подносится Ständchen? спросилъ я у товарищей — не оттого, что мнѣ это нравилось, а оттого, что хотѣлось знать: далеко ли придется мнѣ таскаться на мое музыкальное поприще.

— У Гернерихъ въ домѣ. — Ты, вѣдь, знаешь Минну... отвѣтилъ мнѣ Мейнгардъ.

— Не имѣю удовольствія, возразилъ я.

До серенады оставалось еще полчаса — и мы, раскупоривъ еще бутылку, налили себѣ по стакану пуншу и приготовили партитуру т. е. — бутылку пунша, которая всегда бралась на серенады для смазыванія горла и очищенія голоса.

Усѣвшись кругомъ стола, сидѣли мы уютно, и никому, кромѣ Мейнгарда, не хотѣлось идти врать на другой конецъ города.

Мейнгардъ утѣшалъ насъ.

— Если бы вы знали, какая она хорошенькая, миленькая, добренькая!... говорилъ онъ.

— Ну, такъ женись на ней, а насъ оставь тутъ, возразилъ ему кто-то изъ насъ.

Видѣть разчувствовавшимся этого шелопаю Мейнгарда, никогда не спавшаго 2 ночи сряду на одной квартирѣ, вѣчно во всѣхъ возможныхъ костюмахъ, кромѣ своихъ собственныхъ, — намъ показалось до того смѣшнымъ, что мы всѣ захохотали. Мейнгардъ остался однакоже серьезень.

— Не по мнѣ она! отвѣтилъ онъ, выпивая залпомъ цѣлый стаканъ пунша.

Съ партитурой въ рукахъ и съ нотами на спинѣ Фукса подошли мы къ дому Гернерихъ. Въ передней свѣтился огонекъ, какъ будто бы говорившій: «я жду васъ!»

Въ передней, довольно большой комнатѣ — было

*

двѣ двери: одна—противъ окошка, ведущая въ спальню Минны, другая—противъ входной двери, ведущая въ столовую. Последняя была заперта. Мы начали пѣть:

«Sei gegrüsst du holde Schöne... Dir sei unser Lied gebraucht...» Въ спальнѣ послышался шорохъ, и дверь приотворилась, чтобы дать возможность лучше слушать.

Мы продолжали пѣть; спѣли вторую пѣсню и начали уже третью, какъ дверь, ведущая въ столовую и приходившаяся съ боку, потихонько отворилась, и изъ за двери высунулась головка дѣвушки лѣтъ 17. Дѣвушка съ любопытствомъ смотрѣла на насъ и тотчасъ же скрылась, увидавъ, что она была замѣчена.

Вѣдь, все это было одно мгновеніе,—но я успѣлъ разсмотрѣть эту головку и почувствовалъ въ ту же минуту, что головку эту я въ жизни долго не забуду...

Какъ мнѣ описать ее тебѣ?... Вѣдь, ты ее никогда не видалъ... Головка—маленькая, съ черными, короткими волосами до плечъ; эти волосы колысками обвивали ей шейку. Большіе, темные глаза смѣялись, когда она глядѣла на насъ, — какъ будто бы она трунила надъ собой, надъ смѣлостью своего любопытства. Я могъ еще замѣтить ея длинныя, черныя рѣсницы, придававшія какую-то мягкость всему ея личику.

Не знаю, нравится ли тебѣ мой поскудный портретъ,—я знаю только, что мнѣ эта дѣвушка понравилась. Сколько разъ смѣялся я надъ amour spontané, которую французскіе авторы такъ любятъ сравни-

вать съ *coup de foudre*! А оно въ дѣйствительности бываетъ... У меня же при видѣ Минны какая-то теплота зажглась въ груди,—сердце биться перестало.

Смѣйся, смѣйся надо мною! Тогда, вѣдь, я не признавался еще въ этомъ самому себѣ... И сколько борьбы я перенесъ, пока не сознался, что я, какъ и всѣ вообще люди, слабъ, глупъ, счастливъ—влюбленъ.

Съ этого вечера я посѣщалъ очень часто всѣхъ своихъ товарищей, живущихъ вблизи отъ Гернерихъ. Ходилъ я такъ, какъ только намъ, студентамъ, позволяется—т. е. посреди улицы и заглядывалъ въ низкія окна дома Гернерихъ. А тамъ,—за рабочимъ столикомъ или съ книгою въ рукахъ такъ часто сживалась Минна!... Иногда наши взгляды встрѣчались, и я тогда тотчасъ же опускалъ глаза — и каждый разъ все съ большимъ и большимъ смущеніемъ... «Неужели же это тебѣ такъ трудно?» спрашивалъ я самого себя. Я какъ-то боялся встрѣчать взгляды этого ребенка и не понималъ этой боязни, такъ какъ до того времени я никогда не испытывалъ застѣнчивости въ присутствіи женщинъ.

Разъ пришелъ ко мнѣ товарищъ Д. и просилъ меня въ обѣду въ его филистеръ. (Филистеромъ, какъ ты, вѣроятно, не знаешь, нѣмцы вообще называютъ семейство).

Онъ собиралъ квартетъ изъ своихъ товарищей — и я, конечно, согласился.

Я, по вѣчной своей дурной привычкѣ, опоздалъ къ началу обѣда и позвонилъ у крыльца, когда уже окончень былъ супъ. Меня однако же замѣтили чрезъ отпертую дверь, и Д. втащилъ меня въ столовую. Я сильно сконфузился, такъ какъ въ первый разъ былъ въ этой семьѣ и, извиняясь, шаркая и краснѣя, сѣлъ на свое мѣсто.

Наискосокъ отъ меня сидѣла Минна. Меня это такъ поразило, что я оставался нѣсколько секундъ съ приподнятой еверху ложкой супа, смотря на нее. Дѣвушка замѣтила мой взглядъ и мою ложку и, разсмѣявшись, обратилась къ своему сосѣду.

«Что я за дуракъ!» подумалъ я тогда про себя.

Обѣдъ давался въ честь серебрянной свадьбы стариковъ Д. За жаркимъ пошли разные тосты и поднялись возгласы: «*Sie leben hoch!*» Приподнявъ свой бокалъ, я смотрѣлъ на Минну, также державшую въ рукахъ свой стаканъ. «Куда ни шло!» подумалъ я и, приподнявъ въ ея направленіи свой бокалъ, выпилъ его залпомъ—и потомъ испугался.

Минна вспыхнула и поставила свой стаканъ на столъ. Я готовъ былъ прибить себя. Къ счастью, раздался камертонъ моего товарища-сосѣда. Тутъ заплѣли мы одну изъ нашихъ студенческихъ пѣсень... Опять ты будешь смѣяться надо мною и надъ нашей *Bürgerleben!* А еслибъ ты зналъ, какъ иногда хорошо поется!.. Если бы ты зналъ, сколько прелести, уют-

ности — Gemüths... заключается въ такихъ объѣдахъ.

Со стола убрали; подали кофе, вино, сигары, трубки; всѣ мы усѣлись кругомъ стола, весело толкуя — умѣющіе пѣть квартетомъ стали пѣть.

Меня представили всѣмъ, кого я еще не зналъ; въ томъ числѣ также и семейству Гернерихъ. Минна мнѣ сухо поклонилась.

Я попросилъ товарищей спѣть тѣ же пѣсни, которыя мы пѣли ей на Ständchen. Она видимо покраснѣла...

— Ach, reizend, reizend, wie melodiös! приговаривали добрыя старушки, слушая насъ и повязывая на свои семейства синіе чулки.

— Sie singen famos. So zu sagen mit einem gewissen аyes!... похвалилъ насъ старикъ Д., отставной штабсъ-ротмистръ какого-то невозможнаго полка.

Мало-по-малу разговорился я съ Минной. Начали, конечно, съ музыки. Она сперва отвѣчала застѣнчиво, но потомъ все болѣе и болѣе увѣренно начала высказывать свои взгляды и сужденія, которыя меня поразили своею дѣтскою оригинальностью.

— Я теперь васъ не боюсь совсѣмъ, промолвила она подъ конецъ;—а до сихъ поръ я такъ боялась съ вами говорить. Мнѣ много рассказали о васъ: Мнѣ говорили, что вы такой отчаянный студентъ, что вы страшный насмѣшникъ и нигилистъ...

Я долженъ тебѣ сказать, что заслужилъ здѣсь отвратительную репутацію. И раза два-три скандализировалъ добрыхъ нѣмцевъ, вовсе не желая терять въ нихъ Achtung...

Я спросилъ полусерьезно, полусмѣясь:

— Много ли вы дурного обо мнѣ слышали?

— Много! отвѣчала Минна.

— И вы вѣрите?

— Нѣтъ! отвѣчала она. — Васъ ужъ слишкомъ дурно рекомендовали... Не можетъ быть, чтобы въ васъ не было чего нибудь хорошаго...

Я крайне былъ удивленъ, слыша это отъ нѣмки — (нѣмокъ считаютъ за застѣнчивыхъ и щепетильныхъ).

— Какъ вы правы! отвѣчалъ я. — Въ каждомъ человѣкѣ есть непременно искра добра. Она хоть часто и не замѣтна, а раздуйте ее, — и человѣка не узнаете... Такъ и я!... Меня считаютъ холоднымъ человѣкомъ, которому все равно, лишь бы весело прожить день... А въ сердцѣ все-таки искра тлѣется и напоминаетъ мнѣ, что я не созданъ для той жизни, которою теперь живу... Я такъ мало интересуюсь самимъ собою, что ищу развлечения во внѣшней, веселой жизни и нахожу ихъ, къ несчастью, слишкомъ часто.

— А вы сознаете, что это — несчастье? спросила она.

— Начинаю сознавать, отвѣчалъ я.

Какъ мы дошли до этого разговора — я теперь не

припомню. Привелъ же я его потому, что онъ характеризуетъ начало нашихъ отношеній съ Минной.

Послѣ этого обѣда встрѣчались мы довольно часто, но говорили рѣдко. Я пересталъ ходить на лекціи, которыя читались съ 12-ти до часа. По цѣлымъ часамъ простаивалъ я на улицѣ, дожидаясь, чтобы Минна вышла изъ дома для своей ежедневной прогулки. Я кланялся; она проходила мимо — и я оставался совершенно доволенъ.

Что за странное существо — человѣкъ!.. Вообрази, что видѣть ее хоть разъ въ день — сдѣлалось для меня жизненною потребностью. Если она цѣлый день не выходила изъ дому, или мнѣ мѣшали обстоятельства выйти, то весь день я чувствовалъ, что чего-то мнѣ не достаетъ. Я проходилъ разъ двадцать мимо ея дома въ день и оставался доволенъ, когда мнѣ представлялась возможность видѣть ее хоть мелькомъ. Ожидалъ ты этого чуда отъ меня!?

Миллеръ называлъ мои прогулки «Sanitäts Spaziergänge» — такъ онѣ дѣйствовали на ежедневное расположеніе моего духа...

Наступила весна. Деревья стали зеленѣть. Я еще болѣе поглупѣлъ, хотя и не былъ уже такъ счастливъ, какъ прежде, — любовь становилась бременемъ, нести которое хотѣлось бы вдвоемъ. Признаться же — я не смѣлъ; чего-то боялся, но чего — не знаю. Видѣлись

мы теперь съ Минной рѣдко, — лишь на улицѣ, мимоходомъ.

Я хотя и былъ принятъ въ домъ ея родителей, но они жили не открыто, и особенно не любили и боялись студентовъ. Вечера въ городѣ прекратились... Я познакомился въ это время съ братомъ Минны и подружился съ нимъ, на сколько могъ.

Онъ—добрый малый, но непроходимо глупъ. Отъ него узналъ я, что старики Гернерихъ желаютъ выдать замужъ Минну за своего племянника, и что только ожидаютъ, чтобъ дѣвушка минуло 18-ть лѣтъ.

Это извѣстіе меня сильно потрясло. Въ первый разъ спросилъ я себя: «чѣмъ все это кончится?» Я рѣшился переговорить съ нею и хотъ косвенно узнать: что она думаетъ.

Давался балъ въ городѣ—и мы танцевали съ ней что-то въ родѣ нашей мазурки; у нихъ *это* называютъ—никогда никто не узналъ почему—Anglaise.

Собравшись съ духомъ, я обратился къ ней во время танцевъ:

— Вы замужъ выходите—сказали мнѣ—правда ли это?

— Мои родители желаютъ этого.

— А вы? спросилъ я, дрожа отъ волненія.

— Darf ich Sie zu einem Tour bitten, подскачилъ къ ней въ ту пору какой-то кавалеръ.

Она сидѣла, опустивъ глаза, и не слышала приглашенія.

— Darf ich bitten, повторилъ опять кавалеръ.

Она поднялась и, положивъ руку на плечо кавалера, спросила меня:

— Зачѣмъ вы спрашиваете?

И затѣмъ понеслась она по залѣ.

Я смотрѣлъ на ея движенія и никого, кромѣ ея, не видалъ... Она скоро возвратилась на свое мѣсто.

— Зачѣмъ вы спрашиваете? повторила она, не смотря на меня, а потомъ, вдругъ, спросила: — а вы скоро женитесь?

— Это зависитъ отъ дѣвушки, для которой я отдалъ бы всю свою жизнь, чтобы назвать ее *моей*!... сказалъ я, не зная самъ хорошо, что говорю. — Если бы она знала, если бы она хотѣла меня подождать!.. О! я въ годъ кончилъ бы курсъ, сталъ бы человекомъ. Какъ же мнѣ теперь и думать о ней и надѣяться? Вѣдь, я только началъ курсъ, и всѣ экзамены впереди. А, вѣдь, вы знаете: студента, не сдавшего еще ни одного экзамена, свѣтъ считаетъ за ребенка.

— Одинъ годъ! проговорила она въ раздумьи.—Вы никогда не кончите.

Подошелъ опять какой-то господинъ и что-то началъ ей говорить, прося ее съ нимъ танцовать.

Вернувшись, она сѣла, не говоря ни слова; я, молча,

смотрѣлъ на нее. Человѣкъ поднесъ лимонаду, и я налилъ ей и себѣ стаканъ.

— Чокнемся, сказала она мнѣ.

— Вы мнѣ пожелайте чего-нибудь! сказалъ я.

— Скоро экзамены выдержать! промолвила она мнѣ.

Я чувствовалъ, какъ она покраснѣла—именно почувствовалъ, ибо взглянуть на нее не могъ. Вся кровь мнѣ бросилась въ голову. Что-то теплое въ груди шевельнулось. Принимая отъ нея стаканъ, я чуть-чуть коснулся ея руки и едва не уронилъ стаканъ... Что дѣлалось со мной—не помню. Я взглянулъ на нее; она на меня посмотрѣла... И вдругъ оба мы отвернулись другъ отъ друга, чего-то стыдясь, но оба счастливые...

— Grand ronde, s'il vous plait! раздалось около насъ.

Мы приподнялись съ мѣста. Я подалъ ей руку и мы пожали другъ другу руки, какъ будто сговорясь...

Я шелъ въ этотъ вечеръ домой, какъ еще никогда не хаживалъ. Мнѣ казалось, что все воокругъ меня радуется моему счастью. И луна и звѣздочки смотрѣли на меня какъ-то ласково, и сама земля, которой я не чувствовалъ подъ ногами, какъ будто бы старалась хоть на мгновенье заставить меня забыть, что и я живу на ней...

А въ постели лежа, я все твердилъ себѣ: «Да не можетъ быть! да за что же? — ну, стою ли я, чтобы

она меня любила!—Да какъ же это сдѣлалось?» твердилъ я, засыпая, чтобы имѣть право отвѣчать самому же себѣ.—Да, она любить меня—это прочелъ я въ ея взглядѣ и въ пожатіи губъ. Я это чувствовалъ въ самомъ воздухѣ, которымъ мы съ нею дышали.

Не вылежалъ-таки я въ своей кровати — всталъ, одѣлся и скоро очутился передъ домомъ Минны.

Ставни были закрыты...

«Не ошибся ли?» подумалъ я.

«Нѣтъ, не ошибся!» возвратившись, думалъ я утромъ, засыпая.

«Ну, а если?»...

Съ слѣдующаго же дня я очень рано засѣлъ за тетрадки и сталъ работать.

Какъ работа легко пошла! Съ какою поспѣшью зубрилъ я лекціи!

Я позволялъ себѣ иногда ночныя прогулки передъ сномъ, и ходилъ передъ ея домомъ, высматривая: не увижу ли ее изъ-за полузакрытой ставни. Послѣ прогулки я работалъ еще часа два, потомъ спалъ 3 или 4 часа — и опять вставалъ работать.

Побоялся я срока экзаменовъ и подалъ прошеніе — сдать экзамены раньше назначеннаго времени.

Какъ шибко билось сердце, когда я сѣлъ въ первый разъ противъ профессора, серьезно смотрѣвшаго на меня чрезъ свои черепаховыя очки. Два дня экзаменовали. Наконецъ, вышелъ я изъ университета въ



5 часовъ вечера, сдавъ первую половину экзаменовъ...

Минна знала, что я держалъ экзаменъ въ этотъ день и сидѣла у окошка, поджидая меня. Я прошелъ мимо ея оконъ и поклонился ей; она весело кивнула мнѣ головой, а потомъ отошла отъ окна и запѣла:

«Venn die Uhr zehn schlägt»...

(То было начало одной нѣмецкой пѣсни).

Въ 10 часовъ я, конечно, былъ подъ ея окномъ и ждалъ въ нетерпѣніи, чтобы показалась она. Было совсѣмъ темно. Дверь на улицу вдругъ пріотворилась, и на порогѣ стояла Минна!..

— Мнѣ такъ хотѣлось васъ поздравить, сказала она мнѣ шепотомъ.—Вы не будете дурно обо мнѣ думать... я такъ молилась за васъ...

Что было мнѣ ей отвѣчать?.. Я держалъ крѣпко въ своей рукѣ ея маленькую ручку и вмѣсто отвѣта поднесъ ее къ губамъ. Она дрогнула и, выдернувъ руку, захлопнула за собою дверь.

Я остался одинъ на улицѣ. Въ мигъ вся радость выдержанныхъ экзаменовъ пропала. Я стоялъ на одномъ мѣстѣ, чувствуя себя преступникомъ, но—въ чемъ состоялъ проступокъ?—понять не могъ.

— Was schwärmst du? Das hätte ich von dir nicht erwartet! сказалъ мнѣ наткнувшійся на меня товарищъ.

Я взялъ его подъ руку и вмѣстѣ съ нимъ отира-

вился въ нашу квартиру. Меня тутъ встрѣтили возгласы товарищей. Заставили меня выпить нѣсколько Feurige Bomben, и я скоро почувствовалъ себя прежнимъ отчаяннымъ студентомъ, какъ меня назвала Минна...

Прошло 2 мѣсяца. Гернерихъ уѣхали изъ К. въ деревню. Нѣсколько разъ приходилось мнѣ видѣться съ Минной до ея отъѣзда, но все при людяхъ—такъ что мы не могли передать другъ другу, что было у насъ на душѣ. Въ теченіи этихъ двухъ мѣсяцевъ, я работалъ, какъ волъ, приготовляясь уже къ послѣднимъ экзаменамъ.

Къ моему счастью, пріѣхалъ въ городъ братъ Минны, который въ кругу студентовъ, позвалъ меня и нѣсколькихъ товарищей моихъ къ себѣ въ гости. Мы, конечно, воспользовались этимъ и уже на слѣдующій день летѣли къ Гернерихъ. Брата Минны отправили мы нѣсколькими днями раньше—извѣстить о нашемъ нашествіи. Мы пріѣхали поздно вечеромъ. Старика Гернерихъ не было дома, что насъ сильно обрадовало, а старушка, мать Минны, лежала въ постели.

Минна съ одной подругой своей встрѣтила насъ.

Какъ мнѣ передать тебѣ все, что я почувствовалъ при видѣ ея. Я смотрѣлъ, какъ она, истой хозяйкой, разливала чай въ домашнемъ своемъ простенькомъ, голубомъ платицѣ, угощая то одного, то дру-

гого. И думалъ я про себя о будущемъ, рисовалъ картины моей собственной семейной жизни... Видѣлъ я уже себя сидящимъ у камина, видѣлъ Минну, опустившую ко мнѣ на плечо свою милую головку...

Всѣ мы сидѣли кругомъ чайнаго стола въ отличномъ расположеніи духа. Сколько смѣха слышалъ я кругомъ себя! Самъ же я былъ слишкомъ счастливъ для того, чтобы обращать вниманіе на окружающее меня веселье.

— Знаешь ли, которую чашку ты пьешь? спросилъ меня товарищъ.

— Нѣтъ, не знаю.

— Седьмую! отвѣчалъ онъ.

Всѣ расхохотались.

— Дайте еще чашку чаю Алексѣеву! смѣясь, сказалъ Мейнгардъ Миннѣ.

— Ахъ, полноте его дразнить! заступилась за меня Минна.

— А вы лучше скажите мнѣ, обратившись ко мнѣ, продолжала она:—какъ вамъ нравится прозектъ этихъ господъ.

— Какой прозектъ? спросилъ я.

Опять всеобщій хохотъ.

— Неужели ты ничего не слыхалъ объ этомъ? спросилъ меня Мейнгардъ.—Мы уже объ этомъ съ полчаса толкуемъ. Мы хотимъ завтра поѣхать въ лѣсъ и тамъ обѣдать. Понимаешь? Каждый возьметъ съ собою чего

нибудь съѣстнаго; мы расположимся тамъ, разложимъ костры, будемъ жарить картофель, искать грибовъ, бѣгать, суетиться и къ вечеру вернемся домой... Ну, какъ тебѣ нравится?

Я, конечно, съ восторгомъ принялъ это предложеніе.

При прощаньи, Минна спросила меня:

— Вы рано встаете?

— Очень рано, отвѣчалъ я.

Въ 7 часовъ утра, на слѣдующій день, расхаживалъ я по аллеямъ парка и любовался на чудныя, вѣковые деревья, которыя отличали узкія дорожки своей густой зеленью, придавая имъ какой-то таинственный видъ. Я сѣлъ на скамейку и дышалъ всей грудью свѣжимъ, утреннимъ воздухомъ, вспоминая свою восьмимѣсячную ежедневную работу въ душной комнатѣ по 12 и 14 часовъ въ день. Я чувствовалъ то же, что могъ бы испытывать человѣкъ, просидѣвшій все это время въ тюрьмѣ.

Вдругъ подъ чѣими-то шагами заскрипѣлъ песокъ. Это заставило меня поднять голову. Ко мнѣ подошла Минна.

— Я васъ вездѣ искала, сказала она.

— Я не надѣялся видѣть васъ такъ скоро, отвѣчалъ я, вставая и идя съ нею въ глубину сада. — Какая вы добрая и милая, что вы такъ рано встали. Теперь я такъ счастливъ, какъ никогда не бывалъ.

Мнѣ думалось, что вы меня забыли, что вы еле-меня узнаете, а теперъ я вижу, что...

— Странно! Я тоже самое о васъ думала... отвѣчала она;—а я васъ не забывала...

Мы сѣли на скамейку не очень близко другъ къ другу. Я затаилъ дыханіе и молчалъ, смотря на нее. Она сидѣла, чертя что-то зонтикомъ по песку, ни слова также не говоря.

— А вы мнѣ простили за то, что я васъ тогда вечеромъ такъ испугалъ?..

— Я на васъ тогда не разсердилась, но мнѣ, просто, страшно стало,—и я убѣжала... сказала она, протягивая мнѣ руку.

Я взялъ ее за руку и долго сидѣлъ такъ, потомъ прямо посмотрѣлъ на нее, и не знаю, какъ — вдругъ спросилъ:

— Минна, хочешь быть моей женою?

Она не вдругъ отвѣтила. Обвивъ ее станъ и прижавъ ее къ себѣ, я смотрѣлъ на ея личико, на ея глазки, полные радостныхъ слезъ и ждалъ отвѣта. Вдругъ, обернувшись, обвила она своими ручками мою шею и, прильнувъ ко мнѣ горячимъ поцѣлуемъ, прошептала: «хочу!»..

До чаю оставались мы вѣстѣ, толкуя о нашей будущей жизни, то смѣясь иногда, какъ сумасшедшіе, то гуляя, то сидя на скамейкѣ и слушая утреннее щебетанье птичекъ.

Такого чувства, какое я испытывалъ тогда, я уже больше никогда не знавалъ. Да оно и невозможно...

Также, какъ и почка цвѣтка цвѣтеть только одинъ разъ, дышитъ свѣжестью, а потомъ, распустившись, мало по малу вянетъ. Нѣги, свѣжести чувствъ, восторженности первой любви — уже во второй разъ въ жизни не бываетъ. Оно, мало по малу, переходитъ въ чувство дружбы, радушной привязанности, съ которымъ сердце прозябаетъ, но не живетъ...

Мать Минны приняла меня радушно, хотя смотрѣла на меня какъ-то искоса, но я сталъ такъ ухаживать за нею, забавлять ее разными рассказами, что она скоро, оставивъ свои предубѣжденія, назвала меня: «Mein lieber Алексѣевъ».

Послѣ завтрака пошли приготовленія къ предполагаемой поѣздкѣ и продолжались они часа два.

Всевозможныя корзинки были вытащены изъ всѣхъ угловъ дома и набиты разными припасами, которыхъ, конечно, хватило бы недѣли на двѣ. Наконецъ, усѣлись мы въ экипажъ и поѣхали, спѣвъ отъ души какой-то маршъ... Долженъ я тебѣ сказать, что нѣмецъ всегда начинаетъ пѣть, какъ только ему дѣлается весело или грустно.

Напѣвъ зависить, конечно, отъ настроенія духа. Я такъ свыкъ съ ихъ причудами, что и самъ уже не считалъ глупостью такимъ образомъ выражать свою веселость... До цѣли нашей прогулки было верстъ десять.

*

Въ лѣсу расположились мы на полянѣ, со всѣхъ сторонъ окруженной высокими, столѣтними деревьями. Былъ чудный день. Тихій вѣтерокъ колыхалъ листву, шелестъ которой напоминалъ мнѣ утреннее свиданіе съ Минной... Стали мы всѣ искать грибовъ. Минна такъ же шла съ маленькой, крытой корзинкой въ рукахъ и посматривала на зеленый мохъ, изъ котораго тутъ и тамъ показывалась головка березовика или боровика. Сначала шли мы всѣ вмѣстѣ, но потомъ очутились мы съ Минной одни.

— Я хочу сегодня поговорить съ твоими родителями, обратился я къ ней.—Они должны же знать о нашемъ сегодняшнемъ свиданіи.

Минна вся вздрогнула.

— Ахъ, только не сегодня! промолвила она.—Милый! Дай нѣсколько дней намъ однимъ знать наше счастье. Я и прежде всегда думала о томъ, какъ буду жить съ тѣмъ, кого люблю, особою жизнью, жить— между людей, а далеко отъ нихъ. Когда же всѣ узнаютъ о нашей помолвкѣ, то вся тайнственность мигомъ пропадетъ,—а я дорожу ею... Вотъ хоть сегодня, за чаемъ, когда ты украдкой пожалъ мнѣ руку—ахъ, какъ чудно, хорошо мнѣ было!.. А когда ты уже будешь моимъ женихомъ, то дѣлать это украдкой—не будетъ причины...

И Минна серебристо засмѣялась.

Что мнѣ оставалось дѣлать?.. Я цѣловалъ ея руч-

ки и уивался звукамъ ея голоса. Этой прогулки въ лѣсу мнѣ не забыть никогда... Не забыть мнѣ тѣ блаженныя дни, которые я провелъ съ нею,—теперь я ихъ ненавижу... Показали они мнѣ счастье земное—точно, подразнили. Не зная ихъ, я былъ бы и теперь чловѣкомъ, а теперь я—хуже старца столѣтняго—не живу, а вспоминаю.

Прощаясь съ Гернерихъ, я сдѣлалъ официальное предложеніе.

Добрые старики сильно переконфузились и не дали мнѣ никакого положительнаго отвѣта. Они однакожъ отвѣтили отказомъ на мою просьбу—вернуться къ нимъ черезъ нѣсколько дней.

Съ тѣхъ поръ я не видѣлъ Минны мѣсяца три, какъ ни старался—хоть издали увидать ее, дѣлая почти черезъ каждыя три дня поѣздки къ сосѣдамъ. За Минной слѣдили неутомимо, не выпуская изъ глазъ.

Когда жѣ я увидѣлъ ее, то испугался. Она страшно похудѣла и казалась тѣнью той дѣвушки, съ которою нѣкогда я такъ весело танцевалъ... Она шла съ своей матерью въ приходскую церковь. Шла она, понурившись, и не видала меня.

Я отправился за ними.

Минна долго и горячо молилась, не смотря ни на кого. Выходя изъ церкви, она замѣтила меня и посмотрѣла долгимъ, долгимъ, выразительнымъ взглядомъ. Въ ея прекрасныхъ большихъ глазахъ блестѣли навер-

тывавшія слезы. Куда пропала ея живость? куда исчезла ея дѣтская игривость? Я страшно испугался, глядя на нее...

Въ тотъ же день я узналъ, что Гернерихъ возвратились уже въ городъ на зиму—и что Минна уже мѣсяца два была больна. Я мучился весь день; сердце было невыносимо. Старался я работать, но и строчки прочесть не могъ. «Что съ нею?» думалъ я про себя». «Неужели я—виной всему?».. Мучила меня эта мысль.

Я ходилъ по комнатѣ скорыми шагами изъ угла въ уголъ. «Завтра, завтра, все рѣшится!» твердилъ я самому себѣ. Долго ходилъ я такъ. Уже совсѣмъ стемнѣло; пробило и 8, и 9 часовъ, а я все ходилъ и ходилъ взадъ и впередъ подъ гнетомъ для самаго себя непонятнаго, *страшнаго*, безпокойнаго чувства.

Громкій стукъ у дверей заставилъ меня вздрогнуть. Я зажегъ свѣчу и пошелъ отпереть.

То былъ мой товарищъ, Мейнгардъ. Жалостливо посмотрѣлъ онъ на меня и, почти шепотомъ, произнесъ:

— Я вижу—ты, ужъ, знаешь...

— Что?... спросилъ я.

— Что Минна... продолжалъ онъ, запинаясь.

— Да, говори же, не мучь меня! топнувъ ногою, перебилъ я его.

— Что Минна черезъ три недѣли за Кистера замужъ выходить.

— Врешь! крикнулъ—почти прошипѣлъ—я, выдаюсь на Мейнгарда и схватывая его за горло.— Скажи, что ты врешь! кричалъ я, самъ не помня себя.

Мейнгардъ не отвѣчалъ. Двѣ крупныя слезинки скатились у него по щекамъ... Замѣтивъ ихъ, я сейчасъ же пришелъ въ себя.

— Какъ же мнѣ врать, тихо отвѣчалъ онъ мнѣ.— Вѣдь, и я ее любилъ...

Онъ сѣлъ за мой столъ и, закрывъ лицо руками, зарыдалъ, какъ ребенокъ.

Я стоялъ передъ нимъ, завидуя его слезамъ. Ярость, бѣшенство охватили меня. Я помню, что трясся всѣмъ тѣломъ и не могъ вымолвить слова.

До сихъ поръ я не въ состояніи припомнить, какъ я очутился на улицѣ передъ домикомъ Минны. Я смотрѣлъ на ея окно всѣми силами души, какъ будто бы желалъ его пронизать своимъ взглядомъ.

Не знаю, долго ли я стоялъ, какъ вдругъ я увидалъ, что дверь на улицу изъ дома Гернерихъ потихонько отворилась. Я подошелъ ближе — въ дверяхъ стояла Минна.

— Я чувствовала, что ты придешь, сказала она, маня рукою и увлекая меня къ своему дому.

При звукѣ ея голоса весь мой гнѣвъ исчезъ — осталась лишь страшная боль. Мы сѣли на ступеньки лѣстницы и, сжимая другъ другу руки, долго молчали.

— Правда ли? спросилъ я, наконецъ.

— Правда, отвѣчала она и, наклонясь къ моей груди, зарыдала тяжелымъ, истерическимъ стономъ.

Такого стопа не слыхалъ я никогда, да никогда и не услышу! Даже и теперь воспоминаніе объ этомъ стонѣ раздираетъ мнѣ душу...

Долго держалъ я ее такъ, не замѣчая, что я самъ чуть не задыхался отъ слезъ.

Между слезъ и подблудевъ, я узналъ обо всемъ...

Старикъ Гернерихъ былъ опекуномъ Кистера; у самого же Гернерихъ не имѣлось никакого состоянія. Кистеру черезъ нѣсколько дней исполнялось совершеннолѣтіе, и старикъ Гернерихъ долженъ былъ ему отдавать отчетъ въ своемъ управленіи, а также проститься навсегда и съ имѣніемъ, въ которомъ Минна провела почти все свое дѣтство, ибо это имѣніе принадлежало Кистеру. При томъ же оказалось, что Гернерихъ издержалъ на себя довольно значительную сумму изъ денегъ несовершеннолѣтняго наслѣдника...

Кистеръ узналъ объ этомъ и грозилъ поступокъ опекуна предать гласности и при всякомъ удобномъ случаѣ дѣлалъ ему упрёки. Но вдругъ онъ перемѣнился, сталъ любезнѣе и въ одно утро сдѣлалъ Миннѣ предложеніе.

Она отказала ему наотрѣзъ.

Кистеръ опять сдѣлался нестерпимъ, преслѣдуя безпощадно стариковъ Гернерихъ... Отецъ Минны,

узнавъ о предложеніи Кистера и объ отказѣ, привязался къ дѣвушкамъ съ мольбами — спасти его и честь семейства. Долго боролась она; наконецъ, уступила.

Что внутренняя борьба была страшная, это я видѣлъ... Хотя она рассказывала все очень просто, передавая лишь одни сухіе факты, но я чувствовалъ, что при каждомъ словѣ сердце ея готово разорваться...

Цѣлый часъ провели мы такъ. Я обнималъ ея гибкій станъ, а она, положивъ свою головку на мое плечо, шептала мнѣ на ухо все, что было у нея на душѣ.

Я сталъ успокаивать ее: говорилъ, что все устроится къ лучшему. И, дѣйствительно, въ тѣ минуты я надѣялся.

Утромъ на разсвѣтѣ мы разстались, чтобы снова сойтись въ слѣдующую ночь.

Пошелъ я бродить по полямъ, зашелъ въ лѣсокъ — подъ городомъ и, странствуя, наткнулся на прудъ, лежавшій недалеко отъ дома Гернерихъ. Отвязавъ лодку, я отплылъ отъ берега и, выплывъ на середину пруда, улегся на дно лодки и пролежалъ такъ, пока солнце не взошло высоко. Лежалъ я и смотрѣлъ все въ верхъ, въ безоблачное небо, и, лежа, думалъ о томъ: что мнѣ оставалось дѣлать?

Ты знаешь, что я не богатъ, да и все мое состояніе далеко не покрыло бы долгъ Гернерихъ Кистеру... А то я не задумался бы ни на минуту...

Наконецъ, я рѣшился...

Встрѣясь съ Кистеромъ, я придрался къ нему и наговорилъ ему страшныхъ грубостей. Онъ сначала показалъ видъ, какъ будто не понимаетъ меня. Но я присталъ къ нему безъ жалости, назвавъ его передъ всѣми и подлецомъ, и трусомъ. Онъ долженъ былъ меня вызвать. Я этого только и желалъ отъ всей души. Я далъ себѣ слово убить его безъ состраданія, какъ собаку. Цѣлясь въ него, я чувствовалъ, что рука моя не дрожитъ...

Ненависть — что ты за сильное чувство? Ты, кажется, сильнѣе любви!

Ты вѣришь, можетъ быть, въ предчувствія, а какъ они бываютъ обманчивы! Я, напѣримѣръ, тогда былъ увѣренъ, положительно зналъ напередъ, что завтра же избавлюсь отъ него. А вышло иначе. Хотя я и ранилъ Кистера, но не опасно; самъ же я получилъ пулю въ правый бокъ и упалъ на мѣстѣ же. Пулю пришлось вынимать. Со мною сдѣлался лихорадочный бредъ, и я пролежалъ безъ сознанія нѣсколько дней.

Всѣми силами старался я поскорѣе вылечиться, чтобы повторить свою попытку. Но долго лежалъ я, ослабѣвъ до того, что—какъ ни старался — все-таки не могъ держаться на ногахъ.

Товарищъ мой, Мейнгардъ, часто сиживалъ со мною, и мы по цѣлымъ часамъ съ нимъ толковали о Миннѣ. Но о томъ, когда назначена свадьба, Мейнгардъ ничего не могъ или не хотѣлъ мнѣ сказать.

Наконецъ, я оказался въ состояніи стоять на ногахъ. Не слушаясь докторовъ, я одѣлся и, нанявъ извозника, приказалъ ему ѣхать мимо дома, гдѣ жили Гернерихъ.

Страшно забилося мое сердце, когда я вдругъ увидалъ передъ крыльцемъ цѣлый рядъ каретъ и колясокъ. Я выскочилъ изъ экипажа и спросилъ первого попавшагося:

— Что это такое?

— Свадьба, отвѣчалъ мнѣ незнакомецъ. — Только что изъ церкви молодые пріѣхали.

Я стоялъ, какъ окаменѣлый. Нестерпимую, жгучую боль почувствовалъ я вдругъ; сердце мое сжало, словно, клещами... Ударъ былъ слишкомъ неожиданъ. Я вбѣжалъ, было, въ переднюю, но лакей остановилъ меня.

— Что вамъ нужно? спросилъ онъ.

— Ничего! Конечно, ужъ больше ничего! отвѣчалъ я ему рѣзко и бросился вонъ.

Почти бѣгомъ, удалялся я отъ этого дома, забывъ и слабость и нездоровье; но невидимая сила, черезъ часъ, опять притянула меня къ этому же дому.

Я стоялъ въ толпѣ, ожидавшей выхода молодыхъ.

— Вотъ, диковина! слышалось мнѣ изъ толпы. — Только что вышла замужъ, а ужъ гулять пошла.

— Кто? спросилъ я.

— А развѣ вы не слышали? отвѣчалъ мнѣ тотъ-же господинъ. — Какъ только молодые пріѣхали, новобрач-

ная-то пошла въ свою комнату переодѣться, — чай, слишкомъ туго была зашнурована. Подали обѣдъ. Стали новобрачную поджидать — не выходить! Наконецъ, пошелъ за нею самъ Кистеръ. Но, посудите, каково же было его удивленіе, когда онъ узналъ отъ горничной, что его молодая жена, жалуясь на головную боль, пошла въ садъ — подышать свѣжимъ воздухомъ... Въ саду-то, однакожъ, не нашли ее. Чай, теперь вернулась... А все-таки заставила себя подождать почти съ полчаса. Не правда ли, какъ это неучтиво?

Я, конечно, ничего не отвѣтилъ.

У меня мелькнула въ головѣ безумная мысль. «Не ко мнѣ ли она побѣжала?» подумалъ я.

— Нѣтъ ли тутъ доктора? слышался вдругъ громкій голосъ.

— Я — докторъ! отвѣчалъ мой сосѣдъ.

— Бѣгите скорѣй!... Въ прудъ утопленницу нашли...

Вся толпа бросилась къ пруду, лежавшему всего саженьяхъ во сто отъ дома Гернерихъ. И я послѣдовалъ машинально за толпой.

Неопредѣленное предчувствіе влекло меня впередъ. Когда я подошелъ, уже большая толпа окружила утопленницу.

— Что? Пришла въ себя-то? спросилъ кто-то подлѣ меня.

— Нѣтъ, померла! отвѣчали ему.

— Какое несчастье! продолжалъ первый голосъ. — Да еще въ первый день свадьбы... Вѣрно, несчастлива она была... Я понялъ тогда все и рванулся впередъ.

На землѣ, въ своемъ любимомъ, голубенькомъ платицѣ—лежала Минна.

Я посмотрѣлъ на нее, пошатнулся и тутъ же упалъ безъ чувствъ...

Вотъ тебѣ моя исторія. Этому уже минуло четыре года, а рана все еще не закрылась и не заживетъ она никогда...

Когда въ свѣтѣ ты услышишь, что нѣтъ такихъ людей, для которыхъ жизнь постыла, которые не могутъ уже болѣе испытывать ни горя, ни радости, которые, какъ машины, влечать свою жизнь изъ дня въ день,—тогда вспомни обо мнѣ и скажи, что есть.

НЕ ПРИШЛОСЬ.

(ПОВѢСТЬ).

НЕ ПРИШЛОСЬ.

(Повѣсть).

Глава первая.

Вечеромъ 27 февраля 1867 г. къ ярко освѣщенному дому на Сергіевской улицѣ подъѣхала карета. Изъ нея сперва выскочилъ молодой человѣкъ, а за нимъ показалась длинная фигура Александры Ивановны Крицкой. Александра Ивановна была женщина лѣтъ сорока пяти, очень высокаго роста и чрезвычайно худощава. Провожавшій же ее молодой человѣкъ казался лѣтъ двадцати-четырехъ. Черезчуръ высокій лобъ и длинный носъ не лишали его лице привлекательности. Его нельзя было назвать красивымъ, но у него было какое-то откровенное, лихое выраженіе, которое нравилось съ перваго взгляда... Лавровъ—такъ звали молодого человѣка—только что пріѣхалъ изъ-за границы, гдѣ онъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ одномъ изъ германскихъ университетовъ. Онъ былъ сперва студентомъ въ петербургской медицинской академіи и серьезно занимался

два года. Неожданная смерть дяди, оставившаго ему все свое состояніе, сдѣлала въ его жизни переворотъ и измѣнила его желанія и намѣренія. Лавровъ отпра-вился за границу, бросилъ медицину и, скитаясь изъ одного университета въ другой, занимался тѣмъ, къ чему больше лежало его сердце...

Подавъ руку Александрѣ Ивановнѣ, сталъ онъ взби-раться съ нею по роскошно убранной цвѣтами лѣст-ницѣ. Въ первый разъ ему приходилось быть въ боль-шомъ петербургскомъ свѣтѣ. Онъ былъ круглый си-рота. Александра Ивановна приходилась сестрою его матери и воспитывала его... Добрая старушка одѣла теперь свое лучшее платье и рѣшилась поѣхать на вечеръ къ графинѣ Осташковой—также ея племянницѣ. Лавровъ три дня былъ въ Петербургѣ, никого еще не зналъ, и Александра Ивановна считала своимъ долгомъ съ своей стороны сдѣлать всевозможное, чтобы ввести его въ свѣтъ.

Въ дверяхъ залы встрѣтила ихъ хозяйка дома, ни-зенькая, вертлявая, худенькая женщина въ бархатномъ платьѣ.

— Какая вы милая, Александра Ивановна, что не забыли меня, скороговоркою и съ какими-то ужимками проговорила она, протягивая Александрѣ Ивановнѣ руку.

— M-r Lawroff, n'est ce pas? Charmée de faire votre connaissance. Vous êtes un nouvel arrivé, обратилась она

къ Лаврову, осматривая его съ ногъ до головы однимъ скорымъ, пытливымъ взглядомъ.

— Oui, madame, отвѣтилъ Лавровъ, подумавъ про себя: «зачѣмъ это она такъ кривляется-то?»

«Il est trop Allemand!» думала въ тоже время она.

— Графиня! Не уютно ли туръ вальса? проговорилъ въ это время подскочившій къ графинѣ, въ рюмку станутый офицеръ.

— Avec plaisir, отвѣтила графиня и, положивъ ручку на плечо офицера, пошла кружиться по залѣ.

Александра Ивановна и Лавровъ остались одни въ дверяхъ.

— Какъ она тебѣ нравится? спросила Александра Ивановна.

— Ужасно на индюшку похожа! отвѣчалъ Лавровъ, улыбаясь.

Александра Ивановна, смѣясь, погрозила ему пальчикомъ и пошла выбрать себѣ мѣстечко въ незамѣтномъ уголѣ залы.

Лавровъ подошелъ къ группѣ мужчинъ, стоявшихъ въ одномъ углу, и сталъ смотрѣть на мелькающія передъ нимъ пары.

«Странно, какъ подумаешь, размышлялъ онъ самъ съ собою, — что всѣ эти люди, скачущіе подъ музыку, могутъ этимъ забавляться; а еще страннѣе, прибавилъ онъ, — что коли я самъ танцую, то и мнѣ весело. Тамъ не должно быть!» рѣшилъ онъ самъ про себя

*

Музыка смолкла. Нѣсколько дамъ вышло изъ залы поправлять свои платья. Кавалеры утирали раскраснѣвшія лица. Толпа отправилась въ гостинную и столовую; въ бальной залѣ открыли форточки.

— Лидинька, Лидинька, простудишься, *ma chère!* говорила толстая дама дочери, подхитившей къ окну подышать свѣжимъ воздухомъ.

— Ахъ, *maison, comme vous m'embêtez!* отвѣчала послушная дщерь.

Лавровъ, не желая далѣе слышать начавшагося назидательнаго разговора, также пошелъ въ столовую.

Тутъ его положеніе стало нѣсколько неловко. Многіе на него какъ-то удивленно посматривали, какъ бы взглядомъ спрашивая другъ друга: кто это такой?

— *Qui est ce jeune homme?* спрашивала хозяйку дама—въ кружевахъ и очень красная лицомъ; *il me rappelle tellement...* продолжала она.

— *C'est m-r Lawroff—un débutant.*

— Какъ? сынъ Викентія Семеновича?

— Не знаю! Мнѣ представили его только сегодня.

— *Présentez—le moi, je vous prie!*

Графиня подозвала знакомъ Лаврова. Тотъ, переступая черезъ длинныя платья дамъ, подошелъ къ ней.

— *La princesse V. m'a demandé de vous présenter à elle,* сказала она ему и пошла къ другимъ гостямъ.

Лавровъ вопросительно взглянулъ на графиню

— *Vous êtes le fils de Викентій Семенович? un bien*

digne et excellent homme que votre père, monsieur, обратилась къ нему княгиня.

— Non, madame, mon père s'appelle Alexandre, on vous a mal renseignée, sans doute.

— Ахъ, скажите, пожалуйста! Ну, ничего, ничего, очень пріятно, сказала немного сконфуженная княгиня.—Pauline! обратилась она къ недалеко сидѣвшей дочкѣ.—Je te présente m-r Lawroff и сама, повернувшись, ушла въ другую комнату, оставивъ Лаврова.

Онъ не усвоилъ еще свѣтскихъ привычекъ, но нельзя сказать, чтобы онъ конфузился въ обществѣ.

— Vous êtes pour la première fois chez la Comtesse, je ne vous ai jamais rencontré ici, начала m-lle Pauline.—Oh, c'est une charmante maison! продолжала она, не давая Лаврову вставить ни одного слова.—Ахъ, будемте говорить по русски, я такъ люблю говорить по русски, c'est une si charmante langue. Не правда ли? тараторила она, играя вѣеромъ и бросая томные взгляды на Лаврова.

— Какъ же не любить свой родной языкъ, отвѣчалъ онъ ей.

— Da, n'est ce pas, que j'ai raison. Я всегда говорю, когда могу, по русски, mais dans le monde, вы знаете, иногда невозможно... тяжело вздыхая, сказала она.

— Позвольте васъ просить на кадрили? перебивая ея вздохъ, спросилъ Лавровъ.

— Mais certainement. Ахъ, какъ хорошо... У меня съ однимъ кавалеромъ, vous comprenez une confusion! онъ пригласилъ меня, а я отказала, думая, что уже приглашена другимъ, comme cela je restai sans cavalier... Третью, не правда ли?

Лавровъ откланялся. «Съ этой, по крайней мѣрѣ, молчать можно!» подумалъ онъ, отходя.

Раздались опять звуки оркестра.

— La seconde contredanse! слышалось вездѣ — въ столовой и гостинной, и пары, постепенно образуясь, становились на мѣста.

Лавровъ также опять направилъ свои шаги въ залу. Почти всѣ пары сидѣли уже на мѣстахъ. Александра Ивановна была также на своемъ прежнемъ мѣстѣ, но теперь уже не одна: возлѣ нея сидѣла молоденькая дѣвушка лѣтъ восемнадцать. Выраженіе личика ея ясно говорило о томъ, какъ она рада балу. Глазки ея блестѣли отъ удовольствія, щеки пылали такимъ яркимъ свѣтомъ, что и Лаврову стало весело при видѣ ихъ. Александра Ивановна подозвала его къ себѣ.

— Душечка! обратилась она къ молодой дѣвушкѣ. — Вотъ г. Лавровъ, о которомъ я тебѣ сейчасъ говорила.

Лавровъ поклонился.

— Вы танцуете эту кадрили? спросилъ онъ у нея.

— Танцую! весело отвѣчала она и потомъ наивно прибавила: — а четвертую не танцую.

— Такъ позвольте ее протанцевать съ вами.

— Очень буду рада! и, вспорхнувъ съ мѣста, она подала руку, подходившему къ ней кавалеру.

— Славная дѣвушка! сказалъ, подсаживаясь къ Александрѣ Ивановичѣ, Лавровъ.

— Моя любимица, отвѣчала Александра Ивановна. — Я ее *Крошкой* назвала. Не правда ли, что она похожа на кролика, Петя!

— Кто она?

— Она—дочь стараго адмирала Щербакова.

— Очень миленькая, замѣтилъ Лавровъ, слѣдя за движеніями Кролика, танцовавшаго неподалеку отъ него.

— Вѣдь, она, какъ дочь мнѣ! начала Александра Ивановна распространяться о Кроликѣ, о которомъ могла говорить хоть нѣсколько часовъ съ раду. — Она совершеннѣйшая институточка, еще не испорченная этимъ свѣтомъ; вотъ бы тебѣ, Петя, жениться на ней! Какая она была бы жена!... И тещи нѣтъ!... А, вѣдь, ты знаешь, какъ это много значитъ въ первые годы супружескаго счастья!

— Очень вамъ благодаренъ, Александра Ивановна; я никогда не женюсь.

— Ахъ, не говори глупостей, Петя! Отчего это? Состояніе у тебя есть, ты молодъ. А повѣрь мнѣ: лучше молодому человѣку жениться—лишнихъ глупостей не сдѣлаетъ онъ.

— Я такихъ глупостей, о которыхъ вы говорите, и

не женившись—не надѣлаю, Александра Ивановна. Но когда я о свадьбѣ думаю, такъ у меня морозъ по тѣлу пробѣгаетъ. Быть скованнымъ на всю жизнь съ женщиною, которую уже давно, быть можетъ, разлюбилъ или которая тебя давно ужъ разлюбила... Носить маску семейнаго счастья и мучиться, какъ въ аду—для чего? А, между тѣмъ, такъ легко избавиться отъ такого тягостнаго положенія...

— Какъ ты молодъ еще, Петя... А любовь ты забываешь?

— Нѣтъ, не забываю. Но, вѣдь, людей, могущихъ любить искренно, постоянно, вы найдете одного изъ десяти тысячъ. Это, по моему, даръ природы, но даруется онъ рѣдко. Чтобъ жениться, быть счастливымъ всю свою жизнь нужно обладать этимъ даромъ, т. е. быть въ состояніи, выше всего на свѣтѣ, любить ту, съ которою живешь, ея жить и такъ свыкнуться, что и жизнь порознь была бы невысказима. Кто не надѣется это исполнить, тотъ лучше не женись! Что можетъ быть ужаснѣе разочарованія послѣ свадьбы. Я въ своей жизни встрѣчалъ случаи, гдѣ разочарованіе приходило и до свадьбы. Чтобы разойтись не хватало энергіи,—и вотъ оба каторжника спокойно, умышленно налагали на себя оковы на всю жизнь. Эти оковы, чѣмъ дольше живешь, дѣлаются все тяжелѣе и тяжелѣе. Приходить смерть, оковы разрываются, и освобожденный кре-

стится, плача о своей потерѣ, — такъ онъ свѣлся съ своею неволей!

— Какія ты страсти говоришь, Петя!

— А развѣ это не правда? Одинъ мой товарищъ влюбился еще гимназистомъ въ одну дѣвушку. Онъ ей также нравился. Они сдѣлались женихомъ и невѣстой и оставались ими три года. Кончивши въ университетѣ, онъ женился. Черезъ семь недѣль послѣ свадьбы, его нашли однажды утромъ отравившимся... Въ письмѣ оставленномъ мнѣ, онъ открылъ: отчего онъ дошелъ до этого. Я вамъ объясню—вы скажите, что онъ поступилъ хорошо.

— Никогда! перебила Александра Ивановна.

— Подождите! Одинъ изъ англійскихъ авторовъ сравниваетъ умъ мужчины и умъ женщины съ деньгами. Онъ говоритъ, что умъ мужчины—фунтъ стерлинговъ; умъ женщины—двадцать шиллинговъ. Сумма одна; коэффициенты разные. Вы понимаете?

— Понимаю.

— Тоже — и съ любовью! Нѣкоторые обладаютъ тѣмъ даромъ, о которомъ я уже вамъ говорилъ; они даютъ фунтъ стерлинговъ, другіе же люди расточаютъ любовь шиллингами. Товарищъ мой отдалъ своей женѣ всю свою душу, весь фунтъ стерлинговъ. Вдругъ онъ замѣчаетъ, что жена его не любитъ, что она любитъ другого, что она никогда его не любила. Она, видите, бѣдная, ошиблась и не признавалась ему въ этомъ

единственно изъ жалости къ нему. Удалиться, отдать ее другому, ее, которая была для него все,—могъ ли онъ живой это сдѣлать?!...

— Конечно, могъ! опять перебила Александра Ивановна.

— Онъ могъ бы, если бы не былъ—полякъ и католикъ. Развестись онъ съ ней не могъ, а зная, что, только разставшись съ нимъ, она могла бы быть счастлива съ другимъ и что тотъ также достоинъ ея. Убитый на смерть, онъ рѣшился устранить себя съ дороги, какъ мнѣ писалъ въ прощальномъ письмѣ, и, выпивъ капли двѣ раствора Cyankalium, отправился на тотъ свѣтъ. Нѣтъ, Александра Ивановна, не женюсь я! Лучше не знать счастья, чѣмъ ошибиться въ немъ...

Александра Ивановна прямо ему не отвѣчала.

— Жена твоего товарища теперь счастлива? спросила она у него.

— Не знаю. Она скоро послѣ свадьбы умерла...

Въ это время кадрили кончилась и Кроликъ, раскраснѣвшись, подошелъ къ нимъ.

— О чемъ это вы такъ серьезно толковали? спросила она у нихъ.

— Онъ мнѣ такія страсти наговорилъ, что просто ужасъ! отвѣчала Александра Ивановна.—И выбралъ славное мѣсто-на балу...

— Ахъ, расскажите, пожалуйста! Нѣтъ, лучше проводите насъ въ столовую: мнѣ ужасно пить хочется...

и, поднявъ Александру Ивановну со стула, она положила свою маленькую, пухленькую ручку на руку Александры Ивановны и повела ее въ столовую. Лавровъ пошелъ за ними.

— Vous ne dansez pas, замѣтила ему m-elle Pauline, пріятно улыбаясь.

Александра Ивановна, усѣвшись съ Кроликомъ на диванѣ въ столовой, поминутно посылала Лаврова къ раскрытому буфету то за фруктами, то за чашками чая, то за конфетами. Наконецъ, и онъ могъ подсѣсть къ нимъ.

— Ты думаешь, Петя, что я тебѣ такъ и не отвѣчу на то, что ты мнѣ въ залѣ говорилъ... Не безпокойся! Вотъ уже ты ко мнѣ прійдешь, тогда я съ тобой поговорю.

— А о чемъ вы говорили? вмѣшался Кроликъ.

— Ахъ, душечка, если бы ты знала, какой онъ матеріалистъ! отвѣчала Александра Ивановна. — Вообрази: онъ любовь смѣетъ сравнивать съ деньгами. Онъ говоритъ, что нѣкоторымъ людямъ дано на десять рублей—бумажкой, а другимъ—все мелочью. А! Какъ тебѣ нравится? Ну, не нигилистъ ли онъ?

— Я не знаю, отвѣчалъ Кроликъ. — Если бы и мнѣ было дано на десять рублей, какъ вы говорите, то я знаю, что бы я сдѣлала... продолжала она.

— А что? спросилъ Лавровъ.

— Я бы ихъ размѣняла на полушки, чтобы раздать ихъ очень-очень многимъ.

— То есть—всѣмъ и никому? опять спросилъ Лавровъ.

Кроликъ не отвѣчалъ, а сидѣлъ молча, нахмуривъ брови и о чемъ-то глубоко размышляя.

— Вы правы, сказала она вдругъ.—Но что лучше: отдать все одному или по малому многимъ? Какъ будешь счастливѣе? That's the question!...

Лавровъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее. «Какъ это она такъ скоро поняла?» подумалъ онъ—и хотѣлъ было ей что-то сказать, какъ въ дверяхъ появился дирижеръ и не громко, но такъ, чтобы каждый могъ слышать—произнесъ:

— La troisième contredanse! Messieurs les cavaliers-à vos dames!

Лавровъ досталъ себѣ vis-à-vis и подошелъ къ княжнѣ Pauline.

— Ахъ, какъ хорошо! А я едва не забыла, что я танцую съ вами. Je suis si distraite... такими словами встрѣтила его послѣдняя.

Лавровъ почелъ нужнымъ замѣтить, что это было не очень любезно.

— Oui, c'est peu aimable, c'est vrai, но что вы хотите? я никогда не могу запомнить моихъ танцоровъ. Je n'ai pas la bosse de la mémoire! извинялась она.— Et puis la plupart d'entr' eux sont si peu intéressants. Ахъ, если бы вы знали, comme le monde m'ennuie...

Лавровъ удивленно на нее посмотрѣлъ.

— Такъ зачѣмъ же вы выѣзжаете? спросилъ онъ ее.

— Ахъ, какіе вы странные! Видно сейчасъ, что вы—не петербургскіе. *Comment est le proverbe russe...* Между волковъ жить—надо по волчьи и кричать. Такъ, кажется?

— Нѣтъ, не такъ! Ну, да это все равно: я понимаю, чтó вы хотите сказать,—но не всё же волки воютъ въ одно время... Зачѣмъ и вамъ не выбирать тѣ вечера, на которыхъ вамъ весело? спросилъ онъ, улыбаясь.

— *C'est impossible—tout à fait impossible!* Вотъ, вы поживете, увидите.

Кадрили началась. Разговоръ сдѣлался отрывистый. Дѣлая послѣдніе *avant deux*, княжна спросила у Лаврова:

— Вы у насъ будете?

— Если позволите, отвѣчалъ онъ.

— *Mais certainement. Venez le soir...* Днемъ мы съ мамою или спимъ или дома не бываемъ. Приѣзжайте вечеромъ, просто на огонекъ. Я скажу мамо. *Elle sera charmée de vous voir.* Я такая спорщица — вотъ вы увидите!

Лавровъ могъ наконецъ откланяться.

— Уфъ! вырвалось у него невольно, когда онъ остался одинъ.

Послѣ кадрили опять заиграли вальсъ, и вся толпа

опять заколыхалась, завертѣлась. Лавровъ протанцовалъ съ Кроликомъ и сталъ въ дверяхъ.

— Comme vous valsez bien, замѣтила ему хозяйка дома.—Faisons un tour!

Графиня танцевала хорошо. Лавровъ, танцовавшій вальсы, какъ истый нѣмецъ, во всѣхъ возможныхъ нюансахъ, былъ очень доволенъ своей дамой.

— Il faut absolument, que vous veniez souvent chez moi, M-r Lawroff, сказала ему графиня, еще не переводя духа.

— On danse chez moi chaque quinze jours.

Александра Ивановна, проходя въ столовую, подошла къ Лаврову.

— Ну, Петя, я довольна тобой, очень довольна. Только не будь такъ серьезенъ! Ты положительно пугаешь,—когда же танцуешь, точно смертный приговоръ подписываешь.

— Постараюсь, Александра Ивановна! отвѣчалъ Лавровъ, ведя ее опять въ столовую.

Кроликъ также очутился тамъ.

— Душечка, Александра Ивановна, сказала она старушкѣ, цѣлуя ее:—какъ мнѣ весело сегодня!

— Полно цѣловать при людяхъ, отвѣчала нѣ много сконфуженная старушка.

— Гдѣ будемъ мы сидѣть? обратился Кроликъ къ Лаврову.

— Гдѣ вамъ угодно будетъ.

— Такъ пойдите и выберите мѣсто подальше отъ оркестра, чтобы можно было говорить, не крича во все горло.

Лавровъ пошелъ, выбралъ мѣсто и пришелъ за Кроликомъ.

Они усѣлись.

— А вы любите танцевать? спросилъ Лавровъ Кролика.

— Очень, отвѣчала она.

— Не правда ли, что весело? И потомъ, мнѣ кажется, это такъ естественно.

— Надо же чѣмъ нибудь свою радость высказать! отвѣтилъ Кроликъ, насмѣшливо улыбаясь.

— Конечно, возразилъ въ томъ же тонѣ Лавровъ; все, что естественно, то и хорошо. Не только мы, люди, но даже и животныя выражаютъ радость и веселье какими нибудь движеніями. Посмотрите, напримѣръ, на собачекъ... Какъ онѣ прыгаютъ, когда имъ весело! Даже лошади — эти добрыя, спокойныя животныя — выражаютъ свою радость, когда выпускаютъ ихъ на свободу, на зеленый лугъ; онѣ также, брыкаясь и прыгая, начнутъ бѣгать, пока не устанутъ.

— Какіе вы злые, сказалъ, перебивая его, Кроликъ.

— А развѣ это — не такъ? Развѣ наша полька или мазурка не тѣ же прыжки жеребенка, выпущеннаго на волю — съ тою лишь разницею, что прыжки наши под-

чиняются особымъ правиламъ, которыя, конечно, отнимаютъ у нихъ много прелести.

— Какой вы насмѣшникъ! замѣтилъ смѣясь, Кроликъ.

— Отчего же? Вѣдь, я самъ танцовать люблю... Но все, чтò я дѣлаю, люблю я дѣлать сознательно, откровенно передъ самимъ собою.

— Перестаньте танцовать! опять смѣясь, попросилъ Кроликъ.

— Лишняя гордость.

— Если вы все такъ разбираете, обратился къ нему Кроликъ съ пытливымъ, наивнымъ взглядомъ,—то вы много хорошаго теряете въ этой жизни. Такъ пріятно иногда не видѣть изнанку вещей. А вы именно и выворачиваете все... Я думаю, что самая счастливая жизнь та, въ которой всего болѣе заблужденій.

— Не хорошо васъ понимаю, спросилъ удивленный Лавровъ.

— Я, можетъ быть, глупости говорю, но мнѣ это—такъ кажется. Да, вотъ, я вамъ примѣръ приведу... Я очень любила одну свою подругу и думала, что она была хорошая, добрая. Ей приходилось уѣхать, а мнѣ было ужасно жаль ее. Вообразите, что она осталась и вышла за очень стараго и очень богатаго господина замужъ. Не правда ли—какъ гадко? Ахъ, какъ мнѣ было больно, когда я это узнала. Ну, уѣзжай она, я и до сихъ поръ думала бы, что она добрая, хорошая—была бы въ заблужденіи.

— Видь, вы говорите, что вамъ было больно, замѣтилъ Лавровъ.— За заблужденіями слѣдуютъ разочарованія, а ничто такъ не больно, какъ разочарованіе...

Кроликъ задумался и съ глубокомысленнымъ видомъ посмотрѣлъ на Лаврова...

— Я, конечно, говорю о заблужденіяхъ безъ разочарованія, замѣтила она.

— Жизнь научить васъ, что это—немыслимо.

— Вы со мной говорите, какъ съ ребенкомъ. Вы, вѣроятно, также—какъ и всѣ—думаете, что мы, инстинкты, ничего не знаемъ, кромѣ обожанія, ѣденія грифеля, мѣлу, и восторженности изъ-за пустяковъ... Вы ошибаетесь! Я васъ увѣряю, что вы ошибаетесь.

— Я это замѣчаю, перебилъ, улыбаясь, Лавровъ.

— Ахъ, какіе вы скучные, съ вами нельзя ни одного серьезнаго слова сказать. Вы поймите, что мы также знаемъ жизнь, но это знаніе, конечно, пропорціонально нашей собственной жизни. Вы понимаете?

— Понимаю и радуюсь, слыша это отъ васъ. Всѣ люди вообще думаютъ, что они понимаютъ жизнь, а въ сущности—далеко не знаютъ и самихъ себя.

— Неужели вы думаете, что это возможно?

— Отчего же нѣтъ?

— Я не могу. Я себѣ говорю: я сдѣлаю то-то, такъ-то, а на дѣлѣ выходитъ, что я сдѣлала это совершенно иначе. Я иногда за то и смѣюсь надъ собою и называю такіе случаи *сюрпризами*.

Лаврову все болѣе и болѣе нравился Кроликъ,— и они подѣ конецъ вечера сдѣлались совершенными друзьями.

Разставаясь, Кроликъ протянулъ Лаврову ручку, говоря:

— Вы не будете слишкомъ смѣяться надо мной.

— А вы не будете меня считать за слишкомъ сухого? сказалъ ей Лавровъ, продолжая держать ее за руку.

— О нѣтъ! отвѣчала она и побѣжала одѣваться.

Доставивъ на домъ Александру Ивановну, Лавровъ поцѣловалъ руку у старушки и, прощаясь, поблагодарилъ ее за доставленное ему удовольствіе.

— Вотъ видишь, что я тебя разсѣяла. Въ другой разъ не артачься; а что—Кроликъ? Не правда ли—душечка?

— Душечка! согласился и Лавровъ.

— А знаешь ли, что ты ей сегодня счастье принесъ?

— Какъ такъ? спросилъ Лавровъ.

— Она сегодня невестой стала... Въ мазуркѣ все устроилось...

Лавровъ вдругъ почувствовалъ, что сердце его какъ-то болѣзненно сжалось...

Глава вторая.

Прошло три года. На дворѣ стояло лѣто,—знойное, сухое. Вся природа жаждала влаги. Ручейки повысохли. По полямъ то и дѣло видѣлись крестные ходы крестьянъ—съ развѣвающимися хоругвями и въ сопровожденіи священника. На поляхъ останавливались, служили молебны; мужички горячо молились, влкаясь неблагодарной землѣ. Молились они долго, молились горячо. Но небо не выказывало сожалѣнія и ни одной слезинки не проронило оно. Помѣщикамъ тоже приходилось жутко. Лаврову, проводившему уже второе лѣто въ деревнѣ, тоже было далеко не весело.

Въ одинъ изъ тѣхъ дней, когда не знаешь — куда дѣваться отъ парящаго солнца, когда весь организмъ чловѣка слабѣетъ и притупляется отъ жары, Лавровъ сидѣлъ на балконѣ и смотрѣлъ на садъ, расхолодившійся передъ нимъ, и на пожелтѣвшую траву. Сидѣлъ онъ такъ долго, смотря на поблекшую зелень, и вдругъ съ чего-то пришла ему на память вся его прошлая жизнь и сталъ онъ находить сходство между ею и окружающею его на ту пору природою.

«Сухо тамъ, сухо и во мнѣ», думалъ онъ. «Роса не омочить, не освѣжить ни на мгновеніе всю эту зелень. Да она и не можетъ освѣжить, да и нѣтъ ея!... Какая тутъ влага можетъ уцѣлѣть, остаться, когда все горитъ! Вотъ тоже происходитъ и со мною!... Вѣдь, и

*

слеза меня не освѣжить... Есть же люди на свѣтѣ, которые умѣютъ плакать! Да и о чемъ плакать-то мнѣ? Вѣдь, бывое не вернешь. А что бы я далъ, чтобъ опять пожить. Авось, лучше станеть... Да, нѣтъ—куда мнѣ! Изсохну я скоро совсѣмъ, какъ и этотъ кустъ изсохъ... А садовнику нужно будетъ приказать его вырыть»...

И Лавровъ, все любя откладывая, взялъ шляпу и тихими шагами пошелъ въ садъ.

Послѣ того, какъ мы оставили Лаврова на вечерѣ у графини Осташевой прощающимся съ Александрой Ивановной,—онъ поступилъ на службу въ какой-то департаментъ, но однообразное писаніе канцелярскихъ бумагъ не въ могоу ему пришлось, и сталъ онъ жить въ Петербургѣ, какъ многіе, т. е. ничѣмъ не занимаясь въ особенности, но вѣчно чѣмъ-то будучи занятъ. Къ счастью, онъ привыкъ работать съ молодости, и урывками ему удавалось также позаняться кое-чѣмъ серьезнымъ. Въ свѣтѣ онъ выѣзжалъ мало и жилъ въ кружкѣ пріятелей, изъ котораго выходилъ рѣдко. Александру Ивановну видалъ онъ только по праздникамъ, когда приходилъ къ ней съ поздравленіями. Съ Кроликомъ онъ почти не встрѣчался. Разъ два въ обществѣ видѣлъ онъ ее—и то мимоходомъ...

Спустя мѣсяца два по своему пріѣздѣ изъ-за границы въ Петербургъ, Лавровъ познакомился съ молоденькой, свѣтской дѣвушкой, сестрой одного изъ своихъ товарищей—и полюбилъ онъ ее страстно, всѣми

силами души. Онъ любилъ первый разъ въ жизни и отдался всецѣло этому чувству. Онъ, вообще невѣровавшій въ любовь, полюбилъ теперь со всею силою неожиданно проявившейся чувствительности.

Онъ былъ такъ счастливъ въ ту пору, такъ ослѣпленъ, что даже и не замѣчалъ, что любить тщетно... При томъ же онъ не часто и видѣлъ предметъ своей страсти, а любилъ, какъ многимъ приходится любить — издалика. Когда же, собравшись съ духомъ, онъ сталъ говорить этой дѣвушкѣ о любви, — она созналась ему, что уже любитъ другого... Это его ошеломило. Онъ сначала не понималъ хорошо, а потомъ на него нашло какое-то оупляющее отчаяніе. Пенялъ онъ на себя, на судьбу и, погрузившись въ свое горе, сталъ онъ до того нелюдимъ, что по цѣлымъ недѣлямъ не выходилъ изъ своихъ комнатъ и никого къ себѣ не принималъ.

Къ счастью, однажды получилъ онъ письмо, извѣщавшее его о смерти его управляющаго... Лавровъ, желая посмотрѣть на свое имѣніе, отправился туда недѣли на двѣ-на три. Но жизнь одиночная, полная разнаго рода хозяйственныхъ заботъ ему такъ понравилась, что онъ думалъ уже никогда болѣе не выѣзжать изъ деревни. Ему удалось случайно вылѣчить двухъ мужиковъ отъ лихорадки, и лѣкарская слава его распространилась скоро по всему околодку. Изъ-за 50 верстъ привозили къ нему больныхъ, и онъ, какъ

ушёлъ, большею частью съ книгою въ рукахъ — дѣ-
чилъ ихъ.

Въ описываемый вечеръ, выходя изъ дому, Лав-
ровъ наткнулся на мужика, искавшаго когонибудь изъ
служащихъ при домѣ и—по деревенскому обычаю—ни-
кого не нашедшаго.

— Тебѣ что нужно? спросилъ его Лавровъ.

— Письмо барину! отвѣчалъ тотъ.

— Давай!

Мужикъ снялъ шапку и вытащилъ изъ нея письмо.

— Отъ кого? спросилъ Лавровъ.

— Отъ энарала Щербакова.

«Въ первый разъ слышу... Какое у него можетъ
быть дѣло до меня?» подумалъ Лавровъ и, распеча-
тавъ письмо, прочесть слѣдующее:

Милостивый государь,

Петръ Алексѣвичъ!

Третьяго дня у меня заболѣла дочь. Я сейчасъ же
послалъ въ уѣздный городъ за докторомъ, но онъ ока-
зался самъ больнымъ. Послалъ я и въ губернский го-
родъ, за 140 верстъ, но оттуда никто изъ докторовъ
не соглашается отправиться въ такую даль. Услыхавъ,
что вы—хотя и не докторъ—очень успѣшно больныхъ
лѣчите, я обращаюсь къ вамъ съ просьбою—пріѣхать
ко мнѣ. Вы хоть совѣтами будете полезны. У дочери
моей бредъ; она сильно мечется. Писать даже мнѣ

страшно! Умоляю васъ, не откажите просьбѣ отца, дрожащаго за свое единственное дѣтище.

Письмо было подписано: «И. Щербаковъ».

«Нечего дѣлать—сѣзжу», подумалъ Лавровъ про себя. «Поѣла чего нибудь слишкомъ много, ну—бѣ тому же жара... Заболѣть не долго, конечно»... Приказавъ запречь коляску, Лавровъ сталъ припоминать: гдѣ онъ слышалъ фамилію Щербакова, — но не могъ никакъ припомнить.

До Дубровки—имѣнія Щербакова—было 28 верстъ, и Лавровъ, покачиваясь въ своей коляскѣ по избитымъ колеямъ проселочной дороги, былъ и доволенъ и недоволенъ своей поѣздкой. Его съ одной стороны радовало, что онъ приобрѣлъ такую извѣстность, съ другой же стороны таскаться такъ далеко, бросать свои домашнія дѣла, мучить себя и лошадей—вовсе не представляло ему удовольствія.

Наконецъ передъ длиннымъ, поосунувшимся отъ старости, деревяннымъ домомъ коляска остановилась. На встрѣчу Лаврову вышелъ самъ старикъ адмиралъ и, взявъ его подъ руку, повелъ въ домъ. Лаврова не мало удивило то обстоятельство, что онъ никого не замѣтилъ изъ двора, обыкновенно выбѣгающей поглазѣть на пріѣзжаго. Старикъ Щербаковъ представлялъ собою типъ русскаго стараго воина первыхъ годовъ николаевскаго царствованія: хотя онъ не былъ высокъ, но казался таковымъ, такъ какъ всегда дер-

жался чрезвычайно прямо. Глаза у него были быстрые, зоркіе. Подъ носомъ протягивалась щеточка сѣдыхъ усовъ. Черты лица довольно правильные. На его немногo толстыхъ губахъ часто играла все одна и таже улыбка самоувѣренности и желѣзной силы воли.

— Очень, очень вамъ благодаренъ, обратился онъ въ Лаврову. — Дочь моя сильно больна; боюсь, какъ бы не лишиться ея. Въ этой глуши, кромѣ знахарокъ, никого и не найдешь. Благодарю, благодарю! отрывисто повторялъ онъ, ведя Лаврова черезъ большія, низкія комнаты въ спальню дочери.

На кровати, съ распущенными волосами, съ открытыми глазами, напряженно-настойчиво устремленными въ пространство, лежала дѣвушка лѣтъ двадцати. Щеки ея горѣли болѣзненнымъ румянцемъ. Она то шептала, то громко произносила какія-то безсвязныя слова... Лавровъ сначала не узналъ ее, но, взглянувъ, вспомнилъ онъ вечеръ у графини Осташковой и ту дѣвушку, которую нѣкогда называли «Кроликомъ», и которая теперь лежала передъ нимъ при смерти.

«Какъ судьба-то сводитъ людей!» думалъ онъ, стараясь опредѣлить состояніе больной. Старикъ Щербатовъ на нѣсколько времени вышелъ изъ комнаты для отдачи какихъ-то приказаній. Больная не обращала ни малѣйшаго вниманія на Лаврова и, повторяя все одни и тѣже безсвязныя слова, продолжала дико смотрѣть куда-то въ потолокъ. Лавровъ понялъ, что у больной

или нервная горячка или же начало ее и, что у больной организм потрясенъ не одною болѣзнью физической, но и страданіемъ нравственнымъ, что, какъ извѣстно, неизлѣчимо никакими микстурами на свѣтѣ. Его предположенія подтвердились причитаньями няни молодой дѣвушки. Старуха рыдала у изголовья больной и, всхлипывая, открыла Лаврову всю исторію «Кролика».

— Помреть она, моя пташечка... о-о-охъ!... Помреть... приговаривала старуха.— За него-то въ гробъ сойdetъ... о-охъ! Ее-то, ее-то взять не хотѣлъ... бусурманъ онъ-этакой... невѣстой, вѣдь, бросилъ... А она-то, бѣдненькая, какъ любила его!.. души не чаяла. О-о-охъ, голубка ты моя сизокрылая... Не помри ты у меня, сердце мое родненькое!.. Не стоить онъ и подошвы-то твоей... окаянный!..

И старуха разливалась горячими слезами. Почти насильно вывелъ ее вернувшійся на ту пору старикъ Щербаковъ и приказалъ болѣе не впускать въ комнату больной. Старикъ одобрительно кивалъ головой на все, что совѣтовалъ Лавровъ. Они усѣлись вдвоемъ у постели и шепотомъ стали разговаривать.

— Какъ вы находите ее положеніе? спросилъ старикъ у Лаврова.

Тотъ не хотѣлъ прямо отвѣчать и возразилъ, что онъ слишкомъ мало понимаетъ въ дѣлѣхъ для того, чтобы сказать что нибудь опредѣленное.

— Нервная горячка? вопросительно обратился къ нему старикъ.

— Что-то въ родѣ этого! отвѣчалъ Лавровъ.

— Приходилось вамъ лѣчить эту болѣзнь?

— Довольно часто.

— И много умирають отъ нея?

— Смотря по силѣ болѣзни.

— Да не мучьте вы меня! вдругъ, вскочивъ со стула и стиснувъ своею рукою руку Лаврова, почти крикнулъ старикъ, — скажите мнѣ прямо: умереть она?

Больная, какъ будто бы услыжавъ знакомый голосъ, бессознательно повторила за нимъ «не мучьте меня», а потомъ шепотомъ добавила: «умереть она...»

Старикъ не выдержалъ. Бросившись на колѣни у кровати, онъ закрылъ руками лицо и, положивъ свою сѣдую голову на подушку, зарыдалъ глубокимъ, тяжкимъ стономъ.

Лавровъ вышелъ изъ комнаты и, прождавъ нѣскольکو минутъ, возвратился снова. Старикъ Щербаковъ, повидимому успокоившись, сидѣлъ уже у кровати.

Всю ночь просидѣли они такъ, почти не говоря другъ съ другомъ. Напряженно слѣдили они за больной и не слышали ни раскатовъ грома, ни шума давно ожидаемаго дождя... Больная въ утру поуспокоилась, и Лавровъ, сдѣлавъ кое-какія распоряженія, отправился къ себѣ въ деревню, обѣщая возвратиться въ тотъ же день и привезти лѣкарства изъ своей домашней аптеки.

Не сложна была исторія Кролика за послѣдніе три года...

Въ тотъ памятный вечеръ у графини Осташковой, когда Лавровъ говорилъ съ Кроликомъ, Кроликъ сдѣлался невѣстой. Надя Щербакова за шесть мѣсяцевъ до этого вечера познакомилась съ однимъ молодымъ человѣкомъ, Сокольскимъ, который только что кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ. Сокольскій былъ человѣкомъ нашего времени т. е. человѣкомъ, отрекшимся отъ всего стараго, почти съ ужасомъ смотрѣвшаго на отсталыя понятія, которыя составляли всю прелесть жизни нашихъ дѣдовъ. Въ тоже время, не имѣя почвы подъ собой или — вѣрнѣе — подъ своими теоріями, Сокольскій заходилъ во всемъ слишкомъ далеко. Онъ былъ уменъ, хорошо говорилъ, и ему удалось очень скоро завлечь бѣднаго Кролика. Но когда его вспышка или, какъ онъ выражался, любовное раздраженіе его нервовъ угасло, онъ отбросилъ въ сторону предметъ этого раздраженія, какъ вещь, уже болѣе не нужную ему въ жизни. Онъ смотрѣлъ на женитьбу, какъ на зло, котораго должно стараться избѣгать во что бы то ни стало.

Иначе смотрѣлъ Кроликъ... Горячія, восторженные рѣчи Сокольскаго—о нормальномъ человѣкѣ, о значеніи человѣка въ социальномъ смыслѣ, о гражданской равноправности—вызывали въ ней подобострастный восторгъ въ непонятому и загнанному свѣтомъ—Соколь-

своему. Онъ сдѣлался кумиромъ для Нани. Отецъ ея въ разговорахъ съ нею о Сокольскомъ сперва нападалъ на него, а это еще пуще разожгло зарождавшееся чувство. Все свое неопытное, любящее сердце она отдала ему; не понимая, что для людей съ любовнымъ раздраженіемъ нервъ—любви не существуетъ.

Ярко горѣло солнце когда Лавровъ возвращался домой. Кое—гдѣ стояли лужи отъ ночного дождя. Казалось, какъ будто бы вся зелень вздохнула за ночь. Но Лавровъ не замѣчалъ этого. Покачиваясь въ коляскѣ, онъ не то что дремалъ, а былъ въ томъ неопредѣленномъ состояніи, когда усталое тѣло отдыхаетъ, а душа, умъ—живутъ какою-то особою жизнью.

«Вѣднѣшка, какъ перемѣнилась!» думалъ онъ. «И она, видно, пожила. Какъ я ничего не слыхалъ объ ихъ пріѣздѣ!.. А она похорошѣла... Неужели ей хотѣлось бы умереть? Надо будетъ непременно взять успокоительнаго. А ну,—если она умретъ!..» При этой мысли усталость пропала у Лаврова, и онъ выпрямился въ коляскѣ. «Нѣтъ, она не умретъ, ей жить нужно!» рѣшилъ онъ вдругъ, самъ не зная почему.

Подѣзжая къ своему помѣстью, онъ услышалъ гулъ сельскаго колокола, звавшаго прихожанъ къ обѣднѣ. Этотъ благовѣстъ напомнилъ ему, что и онъ сельскій хозяинъ, и воспоминаніе объ обычныхъ, ежедневныхъ заботахъ развлекло его на время.

Лавровъ приказалъ остановиться у сада и, проходя

къ крыльцу, вдругъ остановился передъ тѣмъ самымъ кустомъ, который еще вчера хотѣлъ было приказать вырвать. Кустъ хотя казался совсѣмъ мертвымъ, но у корня его показались свѣжія зеленныя почки, и онъ стоялъ, полумертвый, полуживой, какъ будто бы борясь со смертію изъ послѣднихъ силъ.

Лавровъ долго стоялъ и смотрѣлъ на него.

«Неужели и со мной это будетъ? подумалъ онъ. Да, нѣтъ! Не будетъ этого... куда мнѣ!...» И, отвернувшись, онъ вошелъ въ домъ.

Къ вечеру возвратился онъ въ Дубровку. Положеніе больной улучшилось. Она хотя еще никого не узнавала, но была гораздо спокойнѣе.

Старикъ Щербаковъ тоже ожилъ. Весь вечеръ проговорилъ онъ съ Лавровымъ шепотомъ въ комнатѣ больной.

На слѣдующій день—когда Лавровъ вошелъ, больная спала тихимъ сномъ. У него отлегло на душѣ... Въ полдень, проснувшись, больная узнала отца и, протянувъ къ себѣ его голову, долго держала ее такъ, а потомъ, сомкнувъ глаза, опять уснула. Лавровъ остался еще до слѣдующаго дня, но уже не входилъ болѣе къ больной.

Опять жизнь потекла для него попрежнему съ ея ежедневными заботами. Опять сталъ приходить къ нему по вечерамъ старшій прикащикъ его, Кузьма, и они сообща составляли программу слѣдующаго рабочаго дня.

День проводилъ Лавровъ то въ полѣ, то на постройкахъ. Сидя вечеромъ на балконѣ, часто смотрѣлъ онъ на то мѣсто, гдѣ прежде стоялъ кустъ, который уже давно Лавровъ приказалъ вырвать, такъ какъ кустъ, не смотря на свой порывъ опять зацвѣсть,—окончательно высохъ. На его мѣсто вынесено было изъ оранжереи тщедушное растеніе теплыхъ странъ, которое теперь какъ будто съ удивленіемъ поглядывало кругомъ, видя себя въ такой чуждой средѣ.

Къ Щербаковымъ посылалъ онъ нѣсколько разъ узнавать о здоровьи своей пациентки и, получивъ въ послѣдній разъ извѣстіе о томъ, что она совсѣмъ поправилась,—болѣе уже ничего не слыхалъ о нихъ.

Недѣли три спустя, возвращаясь однажды съ работы домой, Лавровъ увидѣлъ у своего крыльца незнакомый тарантасъ и напелъ въ кабинетъ поджидавшаго его старика Щербакова.

— Пріѣхалъ васъ благодарить, началъ Щербаковъ;—да, вѣдь, за то, что вы для меня сдѣлали, благодарить нѣтъ словъ...

И старикъ, положивъ руку на плечо Лаврова, трижды поцѣловалъ его.

Весь день провели они вмѣстѣ. Лавровъ показывалъ ему свое хозяйство, свои постройки. Старикъ смотрѣлъ на все съ любопытствомъ челоуѣка, видѣвшаго все это въ первый разъ въ жизни. Онъ, дѣйствительно, никогда не живалъ въ деревнѣ, и его пріѣздъ въ помѣстье

крайне удивилъ всѣхъ, такъ какъ и самъ управляющій не зналъ о томъ. Прощаясь съ Лавровымъ, Щербаковъ взялъ съ него обѣщаніе—пріѣхать въ Дубровку въ слѣдующее воскресенье къ обѣду.

Въ назначенный день Лавровъ отправился въ Дубровку...

«Вотъ удивится-то она, узнавъ въ своемъ докторѣ стараго знакомаго своего... И въ такой глуши!..» думалъ онъ, подѣвжая къ крыльцу.

На встрѣчу Лаврову никто не явился, и онъ вошелъ въ гостинную, откуда слышалась ему игра на фортепіано. Кроликъ или, какъ теперь сталъ Лавровъ называть его,—Надежда Ивановна сидѣла за клавирами и лѣниво наигрывала какіе-то длинные аккорды.

Она замѣтила Лаврова лишь тогда, какъ онъ былъ уже въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея. Дѣвушка приподнялась, невольно испугавшись.

— Позвольте вамъ напомнить себя! обратился къ ней Лавровъ.

Она взглянула и, узнавъ Лаврова, протянула ему руку.

— О, я узнаю васъ! Помните вы вечеръ у графини Осташевой—и добрую Александру Ивановну!.. Что—то она теперь подѣлываетъ!.. съ дѣтскою радостью обратилась къ нему дѣвушка.

Лавровъ, и самъ не зная отъ чего, также обрадовался ей. Вѣроятно, это случилось по той простой при-

чинѣ, что всякій при видѣ челоуѣка, напоминающаго ему бывшее, радуется—не челоуѣку, но воспоминанію о старыхъ временахъ, почти всегда кажушихся издали въ розовомъ свѣтѣ.

Старикъ Щербаковъ ушелъ въ садъ, а Надежда Ивановна и Лавровъ оставались нѣсколько времени одни.

— Я и забыла, что вы мой докторъ... Я еще и не поблагодарила васъ... промолвила Надежда Ивановна, протягивая ему руку и слегка покраснѣвъ при воспоминаніи о томъ, въ какомъ состояніи видѣлъ ее Лавровъ.

И принялись они толковать о петербургской жизни, о своихъ знакомыхъ...

— Вѣдь не много времени прошло, сказала Надежда Ивановна;—всего три года, а мнѣ кажется, что я была совсѣмъ еще ребенкомъ, — когда познакомилась съ вами.

— Неужели вы себѣ кажетесь теперь такою старою, улыбаясь, спросилъ Лавровъ.

— Нѣтъ! Не старою, но усталою... Да, это я чувствую...

— Вамъ—двадцать лѣтъ, а вы уже говорите, что устали... Это быть не можетъ!

— Если хотите, можетъ быть, это и не усталость, а—какъ бы это выразиться... Нѣмцы говорятъ: *mir ist alles Pomade*; а по русски это выходитъ: мнѣ все тринѣ-трава!

— Не должно это быть! отвѣтить Лавровъ серьезно, зная по собственному опыту: какъ это чувство взоре-
няется сильно и какъ оно порабощаетъ человѣка.

Надежда Ивановна посмотрѣла на него и покра-
снѣла.

— Мнѣ досадно, что я это сказала вамъ; да оно у
меня какъ-то сорвалось съ языка... замѣтила она.

— А все таки, повторяю, это не должно быть!
подтвердилъ Лавровъ, а потомъ горячо прибавилъ:—
Вы думаете, что это я вамъ говорю, какъ человѣкъ, самъ
не испытавшій ничего подобнаго... Нѣтъ! И я испы-
талъ тоже, что вы говорите. Я былъ въ тягость само-
му себѣ... Сперва это кажется такъ справедливо, такъ
просто, какъ будто бы и не могло быть иначе. А по-
томъ придетъ время, когда жизнь не горитъ, но тлѣетъ...
Я самъ, было, дошелъ до такого состоянія, но къ
счастью за умъ взялся. Не позволилъ я на самого себя
себѣ же жаловаться. Знаете, что помогло мнѣ?... Ра-
бота.

— Работа! отозвалась Надя.

— Да, работа! Работа физическая и работа умст-
венная. Обѣ—хороши. Сперва трудно, а потомъ полю-
бится. Вы попробуйте—и сами это же скажете...

— Да зачѣмъ работать и къ чему? Я признаю толь-
ко ту работу, которая можетъ приносить пользу. А
что же я, наприимѣръ, могу дѣлать?

— Это-то и не вѣрно! Вотъ это же и я себѣ твер-

диль... А потомъ и работа нашлась, и польза отъ нея оказалась...

Оба замолчали.

— Какъ мы съ вами вдругъ разговорились? замѣтила Надежда Ивановна.

— Да, я только что объ этомъ подумалъ. Но вы мнѣ простите... Вотъ ужъ болѣе года, какъ я ни съ одной живой душой не говорилъ. Вотъ я и разболтался...

Надежда Ивановна сидѣла, молча, видимо досадуя на себя и на свои слова. Лавровъ хорошо замѣтилъ это и желая успокоить ее съ добрымъ, прямодушнымъ видомъ продолжалъ:

— За что вы на себя сердитесь? Болѣзнь ваша мнѣ болѣе рассказала, чѣмъ ваши слова.

Надежда Ивановна вспыхнула, но Лавровъ не замѣтилъ этого, такъ какъ въ это время въ комнату вошелъ старикъ Щербаковъ.

Въ пріятной, дружелюбной бесѣдѣ провели они весь день. Надежда Ивановна мало разговаривала, но болѣе прислушивалась къ разговору отца съ Лавровымъ.

Щербакову Лавровъ очень понравился, и старикъ опять пригласилъ его къ себѣ на слѣдующее воскресенье, а по отъѣздѣ его сказалъ дочери:

— А отличный онъ человѣкъ, Надя; не то, что теперь наши молодые люди. Шелопан они всѣ... Хотя бы службой занимались, а то и она имъ въ тягость...

Ну, и твой Сокольскій тоже — хорошъ!.. заключилъ онъ.

Надя, молча, посмотрѣла на него, и старикъ, потерявъ всю храбрость свою передъ этимъ взглядомъ, смутился, какъ ребенокъ, и сталъ извиняться.

— Ну, не буду, Надя, не буду... заговорилъ онъ.

Лавровъ сталъ ѣздить къ Щербаковымъ сперва по воскресеньямъ, а потомъ и въ будни, запросто. Въ окологдѣ стали даже поговаривать о женитьбѣ Лаврова, назначали даже и день свадьбы. А между тѣмъ ни Лавровъ, ни Надя и не мечтали о томъ... Они подружались, какъ товарищи, и часто, подолго спорили... Каждый отгадывалъ исторію другаго, но никогда не рассказывалъ про самого себя.

Часто ѣздили они вдвоемъ верхомъ и во время этихъ прогулокъ они становились откровеннѣе обыкновеннаго другъ съ другомъ. Они всегда говорили другъ о другѣ въ третьемъ лицѣ, ставя свои личные вопросы совершенно на теоретическую почву. Они такимъ образомъ могли многое передать другъ другу, не разоблачая открыто свою внутреннюю, душевную жизнь. Въ такихъ добрыхъ отношеніяхъ, въ такихъ долгихъ, тихихъ бесѣдахъ прошли незамѣтно два мѣсяца. Щербаковы стали поговаривать объ отъѣздѣ, такъ какъ уже осень стояла на дворѣ. Разъ, пріѣхавъ къ нимъ, Лавровъ узналъ, что изъ Петербурга получено письмо, заставляющее Щербаковыхъ поспѣшить отъѣздомъ.

*

Надежда Ивановна попросила его въ послѣдній разъ поѣхать верхомъ. Проѣзжая по рощѣ, подѣ тѣнью густыхъ, зеленыхъ вѣтвей, они какъ-то особенно разговаривались въ этотъ прощальный день.

— Когда человѣкъ разбитъ, тогда онъ только и способенъ на обыденную жизнь труженника, говорилъ Лавровъ, отдавъ лошади поводья и небрежно покачиваясь въ сѣдлѣ.—Онъ какъ ни старайся быть нравственно спокойнымъ, но все напрасно... Спокойствія не достигнуть ему. Огонекъ все будетъ горѣть въ немъ и злость станетъ заглушать все, что есть въ немъ хорошаго...

— Нѣтъ, Петръ Алексѣевичъ! Вы не дурной человѣкъ, отвѣчала Надежда Ивановна Лаврову;—и энергіи, мнѣ кажется, тоже довольно въ васъ. Но вы все звѣзды съ неба хотите хватать. На кого же вы можете пенять, коли ихъ не достаете. Вы хотите дѣйствительнаго счастья, а его нѣтъ...

— Эхъ, Надежда Ивановна! Вы меня не понимаете. Какія же тутъ звѣзды?... Жить хочу я, понимаете—жить, даже и счастья-то не требую, а только жизни... Посмотрите кругомъ себя—на этотъ лѣсъ, на эту зелень, на этотъ солнечный лучъ, пробивающійся изъ за листвы и освѣчивающій на зеленомъ коврѣ... Вѣдь, есть же люди, которые находятъ все это прекраснымъ, которые чувствуютъ всѣ эти чудеса природы... Понимаете: онѣ чувствуютъ ихъ... Помню, какъ и я смот-

рѣлъ на Божій міръ другими глазами. Все принимало тогда въ моихъ глазахъ, въ моей душѣ—особый какой-то видъ, понятный лишь самому себѣ.

— Теперь, какъ посмотрю я на васъ и на этотъ лѣсъ—ничего не приходитъ мнѣ въ голову, кромѣ того; что слѣдовало бы вамъ попрямѣе сидѣть въ сѣдлѣ, а лѣсъ не мѣшало бы поджечь... Какъ бы вамъ сказать: жить и постоянно *se battre les flancs*—вотъ, что тягостно!..

Надежда Ивановна долго молчала, а потомъ спросила:

— Скажите мнѣ; отчего вы бываете иногда такъ не справедливы и къ себѣ и ко мнѣ? Неужели вы думаете, что я не замѣчаю этого? Я такъ рада, что подружилась съ вами, а вы такъ часто бросаете тѣнь на нашу дружбу и сердите меня. То, что вы мнѣ сейчасъ сказали, именно и доказываетъ, что у васъ далеко не все еще затихло; что—какъ ни было сильно разочарованіе—вы все еще жаждете новыхъ, сильныхъ ощущеній; что желчь теперь говоритъ въ васъ только до поры-до времени; что скоро прійдетъ часъ, когда всѣ эти ощущенія будутъ дѣлами давно минувшихъ дней—т. е. наступитъ и для васъ часъ отдыха и спокойствія...

Лавровъ не отвѣчалъ. Онъ, дѣйствительно, иногда бывалъ не въ силахъ совладать съ собой, былъ рѣзокъ и грубъ... «Какъ мнѣ отвѣтить ей! думалъ онъ, въ

эту минуту. Какъ ей сказать, что я отдалъ бы пол-жизни за то, чтобы полюбить ее, да не могу—и что это-то и бѣситъ и мучить меня! Какъ признаться ей, что если бы она меня полюбила, то это согрѣло бы меня, и я могъ бы ее полюбить. Но я чувствую, что не я—въ ея мысляхъ, и никогда ничѣмъ я для нея не буду>...

— Надежда Ивановна, обратился онъ къ своей спутницѣ; не хотѣлъ я говорить вамъ... Да, ну—коли къ слову пришлось, такъ, пожалуй!.. Видали ли вы, какъ солома, взвиваясь къ небу, горитъ, мечется, крутится и, наконецъ, падаетъ на землю чернымъ пепломъ. Въ такомъ пожарѣ все сгораетъ... Понимаете—все, остается только пепелъ. Вотъ вамъ и моя исторія. Вы иногда подымаете своими словами этотъ пепелъ. Въ эти минуты слезы подступаютъ къ глазамъ, дыханіе захватываетъ,—и я откашливаюсь. Не сердитесь же тогда на меня: тогда я именно и жалокъ и гадокъ.

Надежда Ивановна, бросивъ совсѣмъ поводья, ѣхала, понурившись. Какъ будто бы не дослышавъ послѣднихъ словъ Лаврова, она проговорила:

— Feu de paille—я другое о васъ думала.

— Да, feu de paille, если хотите! отвѣчала желчно Лавровъ.

— Да и какъ же оно могло бы быть иначе, коли ужъ я такъ созданъ...

Оба ѣхали домой молча.

Лавровъ раза два посмотрѣлъ на Надежду Ивановну, которая ѣхала попрежнему, понутивъ голову. Она вдругъ остановила лошадь и, протягивая Лаврову руку, сказала:

— Если бы вы знали, какъ я вамъ благодарна за вашу откровенность! Какъ мнѣ сердиться теперь на васъ? Я никогда, никогда этого не забуду!

Она ласково смотрѣла на него, пожимая ему руку, но ни въ голосѣ, ни во взглядѣ ея не было того, что всею душою желалъ бы видѣть въ нихъ Лавровъ.

Мало говорили они до самого дому.

Въ нѣсколькоихъ шагахъ отъ калитки она приотстояла опять лошадь и, не глядя на Лаврова, спросила:

— И вы думаете, что вы никогда и ни кого не полюбите?

— Нѣтъ! отвѣчалъ Лавровъ.— Да и не къ чему! Старался—не удалось...

— Я... начала, было, Надежда Ивановна, но, недоговоривъ, круто повернула лошадь и въѣхала въ калитеу.

Вечеромъ прощаясь, Лавровъ остался на нѣсколько минутъ съ нею наединѣ. Онъ воспользовался этимъ случаемъ и спросилъ ее:

— Что хотѣли вы, Надежда Ивановна, сказать мнѣ у калитки?

Она не отвѣчала.

— Неужели вы не могли мнѣ этого сказать? опять спросилъ онъ.

— Сказать я могла, но я вдругъ побоялась, что вы меня за ребенка примете—или, что еще, по моему, хуже—подумаете, что я сентиментальничаю.

— Если что нибудь хорошее, такъ скажите же мнѣ... рѣдко приходится слышать хорошее.

— Я хотѣла вамъ тогда сказать, что я всегда, всегда, все готова буду сдѣлать, чтобъ согрѣть, чтобъ приютить васъ...

Лавровъ, молча, взглядомъ поблагодарилъ ее... Она поняла этотъ взглядъ, и послѣдняя тѣнь застѣнчивости пропала въ ней.

Она посмотрѣла на него добрымъ, прямымъ взглядомъ—взглядомъ сестры, желающей только добра брату; но этотъ же самый взглядъ подтвердилъ и то, что думалъ въ это мгновеніе Лавровъ. «Не любить она меня да и никогда не будетъ любить»: думалъ онъ и вдругъ, какъ бы продолжая свою мысль, спросилъ ее:

— Неужели, Надежда Ивановна, вы никогда не сжалитесь, не полюбите меня?

— О да, отвѣчала она, угадывая мысли и желаніе Лаврова;—но не такъ, какъ, можетъ быть, и мнѣ хотѣлось бы васъ полюбить... Нѣтъ, мы Петръ Алексѣевичъ не созданы другъ для друга. Вы сами это лучше меня знаете. Не во время мы съ вами встрѣтились... Авось, когда нибудь и на вашу долю счастье улыб-

нется. А вотъ и папа!.. обратилась она къ показавшемуся въ дверяхъ отцу.

Адмиралъ Щербаковъ, прощаясь, опять, по своей привычкѣ, поцѣловалъ трижды Лаврова. Видно было, что онъ надѣялся не такъ разстаться съ нимъ. Старики казались грустными, обманувшимся въ своихъ ожиданіяхъ; онъ почти укоризненно смотрѣлъ на Лаврова. Тотъ въ послѣдній разъ подошелъ къ Надеждѣ Ивановнѣ и, цѣлуя руку, прошепталъ ей:

— Не поминайте лихомъ—не я виноватъ!

Она поцѣловала его въ голову и тоже тихо и въ порывѣ добраго чувства отвѣчала:

— Я, можетъ быть, писать буду... тогда пріѣзжайте!..

Но не писала она... И Лавровъ до сихъ поръ живетъ старымъ холостякомъ въ своей Моховаткѣ и—когда его спрашиваютъ: отчего онъ не женился—онъ всегда даетъ одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— *Не пришлось!*

НЕРѢШЕННЫЙ ВОПРОСЪ.

(ПОВѢСТЬ).

НЕРВЪШЕННЫЙ ВОПРОСЪ.

(Повѣсть).

1 декабря 1866 г.



Я получилъ сегодня утромъ по ~~русской~~ почтѣ письмо слѣдующаго содержанія:

«Пріѣзжайте сегодня въ маскарадъ, въ Дворянское Собраніе. Мнѣ нужно васъ видѣть. Вы меня забыли».

Письмо не было подписано. Мнѣ не хотѣлось ѣхать, и я отбросилъ письмо въ сторону, но—не знаю отчего—весь вечеръ я провелъ въ какой-то нервнѣности. Письмо, полученное утромъ, невольно интриговало меня. Наконецъ, я надумалъ,—и въ часъ ночи очутился на большой лѣстницѣ, ведущей въ залы дворянскаго собранія.

Не знаю какъ на другихъ, но на меня маскарадъ наводитъ уныніе. Вѣчныя пошлыя фразы слишкомъ хорошо извѣстныхъ масокъ, какая-то безцѣльная бѣготня и суета мнѣ страшно надоѣдаютъ. Ко мнѣ и сегодня подошли двѣ маски, которыхъ я сейчасъ же, конечно,

узналъ. Занявъ свободное мѣсто на диванѣ, я сталъ ждать обѣщаннаго свиданія.

Не прошло и пяти минутъ, какъ скорыми шагами ко мнѣ подошла стройная незнакомка въ domino и маскѣ.

— Благодарю за то, что вы пріѣхали, обратилась она ко мнѣ, садясь со мною рядомъ.

— Отчего ты не пользуешься правомъ маски и не говоришь мнѣ *ты*? спросилъ я ее.

— Это я вамъ... тебѣ писала, сказала она, поправляясь.

— Какъ ты видишь, я принялъ твое приглашеніе.

— Не охотно, кажется... я уже болѣе часа тебя жду.

— Въ чемъ же дѣло? я слушаю.

— Какъ ты торопишься! отвѣчала незнакомка, изъ-подъ маски послышался серебристый смѣхъ.—Я ужъ тебѣ надоѣла, а ты даже не стараешься и узнать: кто я.

— Ахъ, да! я и забылъ совсѣмъ, отвѣчалъ я, улыбаясь.—Дай мнѣ твою руку!

— Руку? Для чего?

— Чтобы узнать: кто ты.

— Развѣ это можно? Да, ты колдунъ? засмѣялась опять маска.

— Вовсе нѣтъ. Но по рукѣ я узнаю—если не все, то многое. Когда рука уродлива, то можно быть увѣреннымъ, что и женщина не красива. Это положительно вѣрно. Собственница такой руки можетъ быть

добра, даже и остроумна, а иногда и энергична. Обыкновенно-же, это — рука практичной женщины. Я таких женщин не люблю: это — проза въ женщинѣ.

— А если у меня рука некрасива? спросила маска.

— Такъ чтожъ? есть и некрасивыя руки, которыя имѣютъ что-то наивное въ своихъ формахъ, такъ сказать, что-то добродушное. Собственница такой наивной руки, бѣльшею частію, — идеаль женщины. Она — не дурна собой, кокетка, на сколько женщинѣ слѣдуетъ быть кокеткой. У такой женщины сердце не думаетъ и не разбираетъ, но все-таки не ошибается. А если даже и ошибется и полюбитъ недостойнаго, то все-таки она останется такою же въ потокѣ жизни, какъ и цвѣтокъ, влекомый ручьемъ, и плывущій все дальше и дальше, пока ручей самъ не полюбитъ цвѣтка и не оставитъ его у себя на днѣ.

— А ты знавалъ такую женщину? спросила маска.

— Знавалъ! отвѣчалъ я.

— У меня рука не такая, замѣтила незнакомка полусмѣясь, полусерьезно.

— Мало ли еще рукъ бываетъ! Есть также и рука длинная, сухая, немного морщинистая; это — рука дурной женщины, — дурной природы. Въ такой женщинѣ — пропасть пороковъ; какъ бы она ихъ ни скрывала, а они все-таки заявятъ себя. Есть также и рука широкая, плоская; это — рука вообще всѣхъ некрасивыхъ женщинъ. Вѣдь я никогда не кончу... Рука, наконецъ,

покажетъ мнѣ: замужемъ ты или нѣтъ, если даже ты и сняла кольцо, то слѣдъ все-таки остался.

— И это все? спросила маска.

— Нѣтъ. Есть также иногда на рукѣ едва замѣтная, голубенькая жилка, (такихъ рукъ мало), — которая расскажетъ мнѣ цѣлую исторію. Это — рука героини, женщины, знающей, что значитъ жизнь и понимающей сладость страданій. Такая рука утирала слезы.

— Кто слезъ не проливалъ?! замѣтила маска.

— Я говорю о слезахъ, пролитыхъ сердцемъ, а не падающихъ съ рѣсницъ... такихъ слезъ ты проливать не станешь и будь рада тому, продолжалъ я, смотря на протянутую, бѣленькую ручку маски.

— Посмотрите хорошенько, сказала она.

Въ голосѣ маски что-то поразило меня.

— Нѣтъ, вижу, я ошибся... Да, вотъ и жилка, о которой я говорилъ. Неужели и вы женщина такая, какою она должна быть? спросилъ я, озадаченный страннымъ выраженіемъ глазъ незнакомки.

— Можетъ быть! отвѣчала она вздыхая. — Вѣдь вы меня не знаете.

— А, можетъ быть, и знаю. Изъ-подъ вашего капюшона выглядываютъ черные волосы, а голосъ у васъ блондинки. Вы — замужемъ. Вотъ — обручальное кольцо, а вотъ — другое, маленькое, съ бирюзой. Оно рассказываетъ мнѣ, что въ минуты одиночества вы не о мужѣ думаете, а о томъ, кто подарилъ вамъ кольцо.

— Ну да, вы правы! сказала она мнѣ вдругъ.—
Я почти всегда одна.

— А мужъ? спросилъ я.

— Мужъ?.. повторила она; онъ для меня ничто. Да
онъ и не въ состояніи понять меня.

— Это въ порядкѣ вещей, замѣтилъ я.

— Не говорите этого. Не шутите. Вѣдь, мнѣ больно, когда я о томъ вспоминаю. Что бы я дала, чтобъ пожить опять давно минувшей жизнью!.. Вы на меня смотрите, какъ на сумасшедшую, и спрашиваете себя: для чего все это я говорю? Но понимаете, что я хочу высказаться. Меня это молчаніе гнететъ. Я вамъ все, все расскажу.

— Берегитесь! Вы меня не знаете, замѣтилъ я.

— Нѣтъ, я знаю, что могу положиться на васъ. Но правда ли? спросила она, смотря на меня.

— Довѣріе не дарится, а заслуживается, отвѣчалъ я.—По моему, есть вещи, т. е. лучше сказать, чувства, которые профанируются, если ихъ рассказываемъ другимъ. Это сокровище, которое хранишь и которымъ не хочешь ни съ кѣмъ подѣлиться.

— Можетъ быть! но я хочу все сказать вамъ, какъ *его* другу. Отчего же вамъ не быть и моимъ другомъ? Да поймите же; что для меня отрада—говорить съ кѣмъ нибудь о немъ. Вы думаете, что не наслажденье—вылить свою душу, повѣдать о своемъ горѣ, показать другу свою настоящую жизнь, съ гнетущимъ лицомъ-

ріємъ домашняго спокойствія. Носить всю жизнь маску самодовольствія, когда душа такъ и рвется на свободу, силиться забыть свой долгъ и честь и бѣжать къ *нему*. Вотъ отчего я говорю съ вами теперь. Вы напоминаете мнѣ *его*. Когда на прошлой недѣлѣ я увидала васъ, воспоминанія о немъ такъ и охватили меня всю разомъ. Съ тѣхъ поръ я все искала случая съ вами говорить. Скажите теперь: вы не откажетесь меня выслушать?

Голосъ незнакомки задрожалъ. Я видѣлъ, какъ ея глаза тревожно и лихорадочно смотрѣли мнѣ въ лице. Что-то жалкое, молящее было въ ея взглядѣ.

Незнакомка молчала, выжидая моего отвѣта.

— Я готовъ быть вамъ полезнымъ, чѣмъ могу. Но врядъ ли я сдѣлаю вамъ много добра, сказалъ я ей наконецъ.

— Не говорите этого. Когда я слышу васъ, я думаю, что съ *нимъ* говорю. Скажите! Вы его хорошо знаете? Можетъ ли онъ любить жену другаго,—зная, что и она его любитъ, не презирая ее за то.

— Презирать, повторилъ я,—да за что же?

— Какъ «за что же?» горячо перебила она.—Развѣ моя любовь не преступленіе? Развѣ каждая мысль о немъ не будетъ наказана?

— Да за что же? Развѣ Божье правосудіе можетъ наказывать за то, что человѣкъ любитъ? Вѣдь, любить или не любить—не въ вашихъ силахъ. Какъ вамъ

сказать... это дѣло произвола, случая. Въ жизни иногда встрѣчаются люди, какъ будто нарочно созданные для того, чтобъ жить другъ съ другомъ, но нѣтъ! они и не думаютъ одинъ о другомъ. Иные же никогда не встрѣчались, даже и не слышали другъ о другѣ,—но при первомъ свиданіи, они вдругъ чувствуютъ душевную теплоту, взоры ихъ встрѣчаются, и какой-то непонятный стыдъ или застѣнчивость заставляетъ ихъ отвертываться другъ отъ друга. Обонмъ хорошо. Оба довольны, счастливы. И за то ихъ Богъ накажетъ, говорите вы? Да въ чемъ же они виноваты? Развѣ они заставляли себя любить?—Любовь—влеченіе, поработящее всего человѣка—и человѣкъ же еще остается виноватымъ. Да гдѣ жъ тутъ правда?

— Да! сказала незнакомка,—но намъ дана сила воли, т. е. возможность противостоять влеченію.

— Въ этомъ, конечно, вы правы, сказалъ я ей. Если можно въ началѣ подавить это чувство и особенно, когда человѣкъ уже связанъ съ другимъ, то каждый обязанъ это сдѣлать. Но когда человѣкъ уже поработенъ любовью, то къ чему эта борьба? Она лишняя. Человѣкъ не въ силахъ полюбить, не въ силахъ и разлюбить.

— Гдѣ же граница? т. е. какъ опредѣлить тотъ моментъ, до котораго можно и должно бороться и послѣ котораго всякая борьба бесполезна? спросила меня маска.

*

Я посмотрѣлъ удивленно на незнакомку. Ея вопросъ поразилъ меня.

— Вы мнѣ задали самую трудную психологическую задачу, отвѣчалъ я,—задачу до сихъ поръ не разрѣшенную и которая, вѣроятно, никогда не будетъ разрѣшена—въ абсолютномъ смыслѣ. По моему, этотъ моментъ, не для каждаго человѣка одинъ и тотъ же. Поэтому, никто другой, кромѣ самаго себя судьей въ этомъ быть не можетъ. Каждый долженъ на столько себя знать, чтобы повѣрить себя и опредѣлить: что такое испытываемое имъ чувство? минутное ли влеченіе, созданіе ли воображенія, разстройство ли нервъ, или же, дѣйствительно, всепоглощающее чувство, которое вкоренилось въ человѣкѣ до того, что вырвать его нельзя, не дѣлая изъ человѣка нравственнаго калѣбен.

— Да! А долгъ?.. А произнесенныя клятвы?..

— Долгъ, клятвы? Это—пустыя слова, когда ужъ человѣкъ самъ не свой, а принадлежитъ другому. По какому праву вы общали чувствовать то, а не другое, общали на нѣсколько десятковъ лѣтъ впередъ? Вѣдь, это—*поп sens*, чушь!

— А все таки это значитъ—обманывать! возразила она.

— Вотъ это-то въ такихъ случаяхъ и недостойно человѣка. Отчего прямо не признаться? Всякая ложь гнусна, особенно въ дѣлѣ чувствъ.

— Да развѣ можно признаться мужу, напимѣръ, въ томъ, что любишь другаго? спросила меня незнакомка.

— Во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ его обманывать.

— А если онъ самъ любить жену, то, вѣдь, это убьетъ его? возразила незнакомка.

— Я долженъ вамъ признаться, что не понимаю сожителства—изъ-за одного состраданія. Поздно или рано привязанность къ другому откроется. Что же можетъ быть ужаснѣе для человѣка любящаго, когда онъ узнаетъ, что счастье его было фиктивное, что ласки, которыя его радовали, были грубымъ обманомъ, что вся его жизнь, во всѣхъ ея деталяхъ, была основана на оскорбительной лжи. Такую минуту разочарованія въ тысячу разъ тяжелѣе перенести, чѣмъ чистосердечное признаніе.

— Какъ вы еще молоды! замѣтила моя незнакомка.—А если есть дѣти, тогда что?

— Опять я вамъ скажу, что ни дѣти, ни любовь къ нимъ не въ состояніи поработить чувства. Я припоминаю теперь одну былинку изъ среднихъ вѣковъ. Хотите: я вамъ разскажу ее?

Незнакомка кивнула головой.

— Одна жена, началъ я, послѣ мученической жизни является къ дверямъ рая въ полномъ убѣжденіи, что она своимъ самоотреченіемъ заслужила райское блаженство. Ее спросили у входа: что она сдѣлала хо-

рошаго на землѣ? «Я была вѣрна мужу», отвѣчала она гордо.—«Мы не знаемъ: кто былъ вашъ мужъ? да это намъ и все равно. А вы скажите: любили ли вы его?»—«Нѣтъ», возразила она.—«Были ли вы довольны; узнали ли вы, что значить счастье?»—«Нѣтъ, но всѣ муки и слезы я переносила, никогда не жалуясь громко».—«Не отворачивались ли вы отъ дѣйствительнаго счастья, предчувствуя его?»—«О! да! но я не хотѣла признать его»... — «Такъ вернитесь обратно, согрѣйте ваше сердце. Достигнуть здѣсь счастья могутъ только тѣ, которые его узнали на землѣ, которые умышленно не пренебрегали имъ въ жизни».

— Я нахожу глубокую нравственную истину въ этой былинѣ, продолжалъ я.—Мы не могли быть созданы для вѣчнаго горя.

Назнакомка слушала меня съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Сколько добра вы мнѣ сдѣлали! отвѣчала она, сжимая мнѣ руку.—Да и я чувствую всею душею, что истинная и глубокая любовь освящаетъ все. Какъ бы люди ни бросали камнями въ тѣхъ, которые испытываютъ счастье не по созданнымъ людьми колеямъ, но побиваемые все таки стоятъ выше надъ общимъ уровнемъ.

— Скажите, продолжала она, если когда нибудь мнѣ нужна будетъ опора, вы первый не отвернетесь отъ меня?.. Я вчера вечеромъ призналась мужу, что люб-

лю другаго выше всего на свѣтѣ. Съ тѣхъ поръ мужъ уѣхалъ, не сказавъ ни слова. Что буду я дѣлать, если мужъ покинетъ меня?

— А тотъ, кого вы любите? невольно спросилъ я.

— Ахъ, вы... вѣдь, вы знаете его... Человѣка болѣе безхарактернаго — я не знаю. Онъ добръ до нельзя, но у него нѣтъ силы воли, чтобъ поставить на своемъ. Онъ вѣчно подъ вліяніемъ кого нибудь. Онъ готовъ жертвовать самъ собою, но не въ силахъ брать на себя никакой отвѣтственности. Онъ глубоко честенъ и знаетъ самаго себя. Я убѣждена, что онъ меня не броситъ, но знаю также, что онъ будетъ скрываться отъ всѣхъ, а я этого не вытерплю. Еслибъ онъ передъ свѣтомъ не боялся, я бросила бы мужа и пошла къ нему.

— Какъ могли вы полюбить такого человѣка, такъ хорошо понимая его? замѣтилъ я.

— Вѣдь, вы сами говорите, что это дѣло произвола, случайности... Я его полюбила, потому что я не могла иначе. Вы, вотъ, человѣкъ—серьезный, а также его любите—я знаю.

— Да о комъ же вы говорите? спросилъ я.

— Неужели вы не догадались?... О Сашѣ Майскомъ.

Я посмотрѣлъ на нее въ изумленіи. Я, дѣйствительно, въ послѣднее время сблизился съ Александромъ Майскимъ. Онъ былъ добрый малый, страшно избалованный и безъ всякой самостоятельности. Мягкія ма-

неры, что-то изящное во всей его наружности, а также удивительныя артистическія способности дѣлали изъ него, конечно, одного изъ самыхъ блестящихъ и пріятныхъ собесѣдниковъ.

— Не вы ли та, о которой онъ такъ часто говорилъ со мною?.. конечно, не называя ее по имени... добавилъ я.

— Онъ обо мнѣ говорилъ часто? въ порывѣ радости заговорила она.—О, какой вы добрый! Скажите мнѣ: отчего онъ уѣхалъ?

Я вдругъ вспомнилъ о томъ, какъ Майскій рассказывалъ мнѣ о незнакомкѣ, которая была влюблена въ него, не бывъ его любовницей,—и какъ онъ не могъ понять ее. Вспомнилъ я также, какъ онъ повторялъ мнѣ, что въ ней все чувства, одни только чувства—и я съ удивленіемъ вдругъ сталъ всматриваться въ мою собесѣдницу. Она мигомъ для меня совершенно преобразилась.

— У него какія-то дѣла въ Москвѣ, отвѣчалъ я уклончиво, зная хорошо, что онъ уѣхалъ только для того, чтобы поставить не преодолимую преграду между собою и этою несчастною женщиной.

— Мнѣ что-то не вѣрится въ эти дѣла, заговорила маска.

— Скажите мнѣ откровенно... Это онъ отъ меня уѣхалъ?

Я не отвѣчалъ.

— Я такъ и знала! едва подавляя слезы, продолжала она. — Если бы вы знали, какъ я этого хотѣла и въ тоже время боялась. Одно меня утѣшаетъ: это то, что онъ никогда не будетъ любить *другую* искренно, глубоко и постоянно. Онъ со всѣми своими блестящими качествами такъ нравственно истертъ петербургскою великосвѣтскою жизнью, что ни одно чувство глубоко въ немъ не въ состояніи вкорениться. Отчего жизнь насъ не свела въ другомъ мѣстѣ, въ деревнѣ, на примѣръ? Такой характеръ, какъ его, принялъ бы тогда совершенно другое направленіе. Изъ него вышелъ бы человѣкъ, который понялъ бы безграничность такой любви, какъ моя. Для него такое чувство было бы сокровищемъ, онъ дорожилъ бы имъ. Онъ стоялъ бы выше всѣхъ житейскихъ законовъ о напущенной нравственности, а теперь онъ такъ сжился съ свѣтскими убѣжденіями, до того предался имъ во власть, что и чувства самостоятельности не осталось въ немъ. Но я не виню его: виновата та среда, въ которой онъ живетъ. Богъ проститъ ему, какъ и я прощаю.

Незнакомка замолчала, глубоко переводя дыханіе.

— Какъ же вы, такъ хорошо зная его, заговорили я, сами не старались прервать разъ навсегда ваши отношенія съ нимъ?

Она не отвѣчала.

— Да, я знаю!.. заговорила она, наконецъ. — Но что вы хотите? человѣкъ всегда живетъ надеждой. Все въ

душѣ его тлѣется мысль о возможности переменъ. Этой надеждой я до сихъ поръ жила... Я вамъ такъ объясана за то, что вы съ терпѣніемъ меня слушали—и за то, что вы мнѣ сказали. Мнѣ вамъ больше теперь нечего и рассказывать, но когда вы его увидите,—скажите ему, что ему нечего было уѣзжать отъ меня, что я давно понимала его, что если бы онъ прямо мнѣ сказалъ: что у него на душѣ—я никогда, никогда не старалась бы видѣть его.

Маска встала и, протягивая мнѣ руку, почти шепотомъ промолвила:

— Прощайте! Я постараюсь на дняхъ, какъ ни-будь, совсѣмъ уѣхать изъ Петербурга.

Тутъ мы разстались, и я, вернувшись домой, почти дословно записалъ это странное свиданіе.

* *

10-го августа 1868 года.

Сегодня утромъ я воспользовался даннымъ мнѣ рѣшеніемъ и, переоблѣвъ военную форму на общетейскую, отправился на берегъ.

Въ Ниццѣ я не нашелъ никого изъ знакомыхъ дома, такъ что рѣшился пойти отъ нечего дѣлать на станцію желѣзной дороги, посмотрѣть на приходъ и отходъ поѣздовъ въ Монтекарло. На платформѣ я встрѣтилъ нѣсколькихъ товарищей, которые ѣхали въ Каннъ, маленькій городокъ около Ниццы, гдѣ въ тотъ же

день давался балъ. Я сейчасъ рѣшился ѣхать и успѣлся вмѣстѣ съ ними въ вагонъ. Ровно черезъ часъ мы были уже въ Каннѣ, и мои товарищи пошли, по общепринятой привычкѣ, испробовать достоинства билліардовъ и всѣхъ мѣстныхъ напитковъ. Я же отправился одинъ блуждать по городу. Городъ самъ по себѣ не представляетъ ничего интереснаго, кромѣ стариннаго, не слишкомъ затѣйливаго замка, но за то вся мѣстность удивительно живописна. Надъ самымъ городомъ поднимаются горы, покрытыя самою богатою растительностью. Удивительно эффектны отливъ зелени всевозможныхъ деревьевъ, изъ чащи которыхъ выглядываютъ прелестныя видны, какъ бы утонувшія въ листья. Пробродивъ по всѣмъ направленіямъ часа три, я, наконецъ, спустился къ берегу моря, гдѣ только что были посажены въ два ряда молоденькія деревья, своимъ жалкимъ видомъ составлявшія рѣзкій контрастъ съ окружающею ихъ богатою растительностію. Я успѣлся на скамейку и, смотря на аллею, невольно сталъ припоминать другую аллею—на сѣверѣ, на своей далекой родинѣ, именно на Конно-гвардейскомъ бульварѣ. Тамъ такъ же тщетно порываются разцвѣсть полнымъ цвѣтомъ листья деревьевъ... Одна мысль порождаетъ другую. Не прошло и минуты, какъ я всецѣло находился въ кругу своихъ друзей, на святой Руси.

— Няня, остановись! слышался мнѣ вдругъ русскій говоръ.

Я даже вздрогнулъ, такъ мнѣ показалось это страннымъ.

Шагахъ въ пяти отъ меня остановилась колясочка, въ которыхъ, обыкновенно, возятъ больныхъ. Сзади ея, поправляя подушку, стояла няня — да, действительно, няня—чистокровная русская Пелагея, Марфа, или, можетъ быть, и Акулина. Круглое лицо, носъ картофелиной, широкія скулы и выраженіе лица, чисто русскаго, которое и у насъ-то уже становится рѣдкостью. Это-выраженіе безпредѣльной покорности, привязанности и любви, доходящей почти до раболѣпства. Такія лица мнѣ всегда нравились, и я сталъ всматриваться въ лицо няни, забывъ посмотреть на больную.

— Александръ Владиміровичъ! вдругъ услыхалъ я.—Какъ я рада васъ видѣть!.

Я вскочилъ со скамейки и подошелъ. Нѣтъ, рѣшительно, я не узнавалъ больной.

— Видите, я васъ сейчасъ же узнала, обратилась она ко мнѣ, улыбаясь и протягивая мнѣ руку.—А вы и до сихъ поръ меня не узнаете?

Ничего не можетъ быть глупѣе въ такихъ случаяхъ, какъ завѣрять, и я отвѣчалъ, что, действительно, не узнаю ее.

— Я—бывшая Маша Войницкая, сказала она, наконецъ, крото улыбаясь.

Тутъ, конечно, я извинился, какъ подобаетъ, но врядъ ли она не замѣтила моего испуганнаго удивле-

ніа. Прошло 4 года, какъ я не видалъ ее послѣ той зимы, когда я познакомился съ нею. Ей было тогда лѣтъ 18. Наше знакомство началось очень страннымъ образомъ. Разъ какъ-то на балу у графини Остапковой, у которой я былъ первый разъ, уставъ отъ танцевъ, я вышелъ въ маленькую, сосѣдную съ залой гостинную и преспокойно усѣлся въ вольтеровское кресло. Спинка кресла была высока и совершенно скрывала меня. Я сидѣлъ такъ уже минутъ пять, какъ вдругъ послышался мнѣ шелестъ женскаго платья. Я полѣнился встать и оставался покойно сидѣть въ креслѣ.

«Саша!»—«Маша!» вдругъ услыхалъ я радостныя восклицанія—и за тѣмъ звуки горячихъ поцѣлуевъ.

Признаться, я былъ такъ ошеломленъ, что мысль—предупредить о своемъ присутствіи мнѣ и въ голову не пришла. Къ тому же минута была бы не хорошо выбрана.

— Милый! послышался женскій голосъ. — Я весь день тебя ждала; неужели ты не могъ прійти?

— Никакъ не могъ, отвѣчалъ мужской голосъ, показавшійся мнѣ знакомымъ.

— Сегодня репетиція къ параду была. Весь день такъ и провелъ въ казармахъ.

— Мама также о тебѣ спрашивала, продолжалъ женскій голосъ.—Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ я боюсь, чтобы она не узнала. Я и не смотрю на тебя, когда

ты у нея. Мнѣ кажется, что мои глаза такъ и говорятъ, какъ крѣпко я тебя люблю.

Опять поцѣлуй...

— Намъ еще долго надо скрываться, заговорилъ мужской голосъ. — Чтожъ дѣлать?.. Завтра я буду въ четыре часа, иди скорѣй въ зало, а то, пожалуй, замѣтятъ.

Они разстались, и она, вѣроятно, желая пройти другими комнатами, направилась мимо меня въ противоположную дверь. Положеніе мое было непріятное.

Проходя мимо, она, конечно, замѣтила бы меня и подумала бы, что я притаился тутъ съ умысломъ — подслушать ихъ разговоръ. Мысль эта, какъ молнія, озаорила меня, и я быстро поднялся.

Появленіе головы медузы не произвело бы такого впечатленія, какъ появленіе моей особы. Мы всѣ трое стояли въ недоумѣніи и страшно сконфуженные смотрѣли другъ на друга.

Офицеръ оказался, дѣйствительно, моимъ знакомымъ, Майскимъ, а она была воспитанница графини Осташковой, Марья Васильевна Войницкая.

— Давно ли вы тутъ сидите! вдругъ грозно спросилъ меня Майскій.

— Съ перваго поцѣлуя, отвѣтилъ я, недовольный грознымъ выраженіемъ Майскаго.

Марья Васильевна закрыла лице руками.

— Вы оскорбляете женщину въ моемъ присут-

ствіи. Я этого не позволю! продолжалъ запальчиво Майскій.

— Напротивъ, вы оскорбляете ее, затѣвая передъ ней исторію! возразилъ я, совершенно придя въ себя.— На вашемъ мѣстѣ бы иначе я поступилъ.

— Но какъ же вы смѣли не заявить о вашемъ присутствіи.

— Милостивый государь! возразилъ я; я былъ смѣлъ, какъ вы выражаетесь, оттого, что первое, что я услышалъ—извините, сказалъ я, обращаясь къ Марьѣ Васильевнѣ—это были поцѣлуи. Я полагаю, что мое появленіе и въ ту минуту было бы столь же неприятно, какъ и теперь. Наконецъ, вы могли пройти въ ту комнату, и я всю жизнь лишь догадывался бы: кого это я слышалъ.

— Г. Салванаренко—правъ, замѣтила тутъ Марья Васильевна.—Онъ не могъ иначе поступить. Да чтожъ! Я и не стыжусь... Я готова передъ всѣмъ свѣтомъ цѣловать его. Еслибъ я могла, то передъ цѣлой толпой твердила бы, что я люблю его. Я горжусь этимъ чувствомъ, милый! сказала она, кладя свою руку на плечо Майскаго.

— Но дайте мнѣ вашу руку и честное слово, продолжала она, обращаясь ко мнѣ, что никогда и никому о томъ не расскажете. Я слышала о васъ и вѣрю вамъ...

И Марья Васильевна протянула мнѣ руку.

Признаться, я въ эту минуту былъ глубоко тронутъ ея откровеннымъ признаніемъ, и Марья Васильевна, замѣтивъ это, проговорила скороговоркою:

— Будемте танцовать съ вами мазурку; мы, вѣдь, съ вами съ этой минуты друзья. Я хочу вамъ все разсказать... Мы поспѣшили всѣ втроемъ выйти въ зало, гдѣ только что разставляли кадрили.

Прислонившись къ стѣнѣ, я смотрѣлъ на танцующихъ. Марья Васильевна плавно и граціозно выдѣлывала фигуры кадрили, и никто не могъ бы замѣтить по ея лицу, что она только что пережила столь бурныя, патетическія минуты.

Наконецъ заиграли первые такты мазурки.

Я отыскалъ въ толпѣ Марью Васильевну и усѣлся съ нею у окна.

— Какъ васъ зовутъ по имени и по батюшкѣ? тотчасъ же обратилась ко мнѣ Марья Васильевна.

Я сказалъ ей.

— Ну, Александръ Владиміровичъ, продолжала она, я рада поговорить съ вами и буду просить васъ не судить, не выслушавъ меня до конца. Можетъ быть, вы мнѣ подадите хорошій совѣтъ... Я пріѣхала сюда въ Петербургъ маленькою дѣвочкой, графиня взяла меня совсѣмъ къ себѣ, брала для меня учителей, наряжала меня, какъ еуклу, возила за границу, и я привязалась къ ней, какъ къ родной матери. Какъ вы знаете, у графини нѣтъ дѣтей, такъ что она всю жизнь свою

посвятила мнѣ и племяннику своему, Сашѣ Майскому. Сашу я знаю съ той поры, какъ я сюда пріѣхала. Онъ еще нажемъ пріѣзжалъ къ намъ по воскресеньямъ, и мы проводили съ нимъ вмѣстѣ цѣлые дни. Когда жъ онъ вышелъ въ офицеры, то онъ, наконецъ, признался мнѣ, что любить меня. Это было около двухъ лѣтъ тому назадъ...

— Если бы вы знали, какъ мы были счастливы! продолжала она. Бывало, ~~мама~~ заснетъ въ тѣхъ креслахъ, въ ксторыхъ вы сидѣли, а мы оставались вдвоемъ и перешептывались. Въ такой дѣтской любви прошло болѣе года безъ волненій, безъ борьбы. Однажды вечеромъ мама мнѣ вдругъ сказала: «иди, одѣвайся! къ намъ будутъ гости, постарайся быть любезнѣе, а особенно устраивай такъ, чтобы Саша оставался одинъ съ Лизой Милоновой!» Я не хорошо поняла сначала и общала устроить все такъ, какъ желала мама.

Вечеръ прошелъ обыкновенно. Сашу я посадила съ Лизой, а сама разливала чай. Когда гости уѣхали, мама подозвала меня къ себѣ и, поцѣловавъ, начала меня благодарить за то, что я такъ ловко помѣстила Сашу съ Лизой. «Ты себѣ не можешь представить, какъ это для меня было важно», молвила она. «Если она понравится Сашѣ, то я умру спокойно. Мать Лизы я знаю съ дѣтства... Постарайся, другъ мой, сблизиться съ Лизой. Дѣло пойдетъ потомъ само собой. Они оба молоды и полюбятъ другъ друга очень скоро.

Ты не замѣтила, какъ онъ на нее смотрѣлъ... А я и для тебя подготовила жениха, только я тебѣ не скажу теперь... цѣлуя меня, продолжала она!.. Не помню: что ей отвѣчала я, но, придя къ себѣ въ комнату, я бросилась на кровать и проплакала всю ночь. Съ тѣхъ поръ жизнь мнѣ пытка. Разъ два въ недѣлю они пріѣзжаютъ къ намъ, и я должна сидѣть и смотрѣть, какъ Саша бесѣдуетъ съ Лизой.

— Посмотрите! вдругъ, нервно сжимая мою руку, продолжала Марья Васильевна.

Къ намъ приближалась лихая тройка молодыхъ танцующихъ. Въ срединѣ была Лиза Милонова, по правую руку ея—Майскій, а съ другой стороны какой-то гусаръ. Они остановились передъ нами.

— Поросенка съ хрѣномъ, или поросенка со сметаной? спросила Лиза Марью Васильевну, и всѣ трое громко расхохотались.

— Перваго, отвѣчала Марья Васильевна.

— Vous avez bien deviné! замѣтила съ насмѣшливой улыбкой Лиза Милонова, удаляясь вальсируя со своимъ кавалеромъ.

Майскій казался не очень довольнымъ. Онъ сдѣлалъ туръ съ Марьей Васильевной и, не сказавъ ей ни слова, отправился ухаживать за Лизой.

Я посмотрѣлъ на Марью Васильевну.

Она тяжело дышала, но ни въ глазахъ, ни въ лицѣ ея нельзя было прочесть волновавшихъ ее чувствъ.

Она смотрѣла на танцующихъ пристальнымъ, ничего не видящимъ взглядомъ.

— Марья Васильевна! началъ было я.

Она вздрогнула.

— Ахъ, извините... я забылась, обратилась она ко мнѣ.—Да, мнѣ не много остается вамъ рассказывать...

— Саша обѣщался просить моей руки у графини, а все не рѣшается, боясь возстановить противъ себя тетушку, которая рѣшилась женить его на Лизѣ. Я ей обязана всѣмъ и не смѣю сама признаться ей, чтобы не оскорбить ее... Вотъ и не знаю я, какъ поступить. Графиня можетъ отдать свое состояніе Майскому, и тогда онъ обезпеченъ. Если же она разсудитъ иначе, то онъ останется почти безъ куска хлѣба. Господи! Что изъ всего этого выйдетъ! Я боюсь... но Марья Васильевна не продолжала.

— Grand rond! скомандовалъ дирижеръ.

И нашъ разговоръ остался неоконченнымъ...

Теперь, сгорбившись, сидѣла передо мной женщина лѣтъ 35, съ блѣдными, впалыми щеками.

— Какъ вы заѣхали сюда въ наше захолустье? спросила меня больная.

Я ей подробно рассказалъ о моемъ путешествіи и о томъ, что я въ этотъ вечеръ собираюсь посмотреть на балъ.

— А до бала вы свободны?

— Совершенно, отвѣчалъ я.

*

— Такъ милости просимъ ко мнѣ. Вы у меня отобѣдаете.

— Няня! вези меня домой.

Няня изумленно смотрѣла то на меня, то на свою госпожу.

Больная видимо волновалась: щеки ея загорѣлись яркимъ румянцемъ. Она воодушевилась, распрашивая меня о Петербургѣ и объ общихъ знакомыхъ.

— А мужа моего вы не встрѣчали? вдругъ спросила она меня.

Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на нее.

— Развѣ вы за мужемъ? Извините, я не зналъ этого.

Яркая краска разлилась по всему ея лицу, и она ничего мнѣ не отвѣтила.

Скоро мы дошли до дома. Это была маленькая вила, окруженная со всѣхъ сторонъ зеленью. Что-то уютное, успокоительное было во всей обстановкѣ этой маленькой дачи. Нависшія надъ крышей дерева отбрасывали тѣнь на широкую веранду. Сотни различныхъ цвѣтовъ ползли по стѣнамъ и покрывали ихъ зеленымъ, пушистымъ ковромъ. Маленькій круглый лугъ, окаймленный высокими кустарниками такъ и располагалъ къ отдыху, къ упоительному бездѣйствію.

— Не правда ли, какъ хорошо у меня тутъ? спросила у меня хозяйка дома.

— Чудо, какъ хорошо, отвѣчалъ я, смотря на этотъ, скрытый отъ всего міра, тѣнистый уголокъ.

— Дайте мнѣ руку, я вамъ покажу мое царство, сказала она.

Мы пошли вдвоемъ, и она съ дѣтской радостью показывала мнѣ свой садъ, потомъ повела меня въ домъ, состоявшій изъ пяти или шести комнатъ, обитыхъ кретономъ.

Мы вмѣстѣ съ няней вынесли на лужайку диванъ и усадили больную.

— Эхъ, баринт! обратилась ко мнѣ вдругъ няня.— Повѣрите ли: какъ отцу родному рада я вамъ. Вотъ почти годъ, какъ сюда ни одной души не бывало. Хотя не знаю я васъ, а все-таки рада. Все Марьѣ Васильевнѣ веселѣе будетъ. Чайку, батюшка, не угодно ли? Самоварчикъ въ мигъ поставлю.

Я, конечно, согласился—и минутъ черезъ пять на столѣ уже кипѣлъ самоваръ и хозяйка дома угощала насъ.

Все это время разговоръ шелъ, по обыкновенію, отрывистый.

Наконецъ, няня удалилась, и мы остались съ хозяйкой вдвоемъ.

— Давно я не видалъ васъ... замѣтилъ я.—Вы вышли замужъ, вѣрно и дѣти есть, а всего какихънибудь четыре или пять лѣтъ прошло... Господи! вотъ время-то летитъ.

— Неужели вы находите, что время идетъ скоро? замѣтила Марья Васильевна...—А для меня оно тянетъ-

ся неимовѣрно долго. Мнѣ кажется, что я тутъ уже всю жизнь провела, а, между тѣмъ, нѣтъ еще и двухъ лѣтъ.

— Вы давно ужъ замужемъ? спросилъ я.

— Три года.

— Значить, вы вышли, спустя годъ послѣ той зимы, въ которую скончалась графиня?

— Да.

— Извините, но я, ей Богу, забылъ... За кого вы вышли замужъ?

— За Николая Арсеньевича Ширкова.

— Который теперь назначенъ директоромъ департамента?

— Да.

— Онъ часто васъ навѣщаетъ?

— Мы съ нимъ совершенно разѣхались.

Наступила минута неловкаго молчанія.

— Странно! вдругъ замѣтила Марья Васильевна. — Какъ иногда люди, почти во всемъ чуждые другъ другу, становятся, вслѣдствіе какой нибудь случайности, тѣсно связанными...

— Вы это обо мнѣ говорите? спросилъ я. — Вѣдь, тотъ разговоръ, который я велъ тогда—теперь дѣло давно прошедшихъ дней. Я вскорѣ послѣ того уѣхалъ изъ Петербурга, а когда вернулся, то васъ, кажется, тамъ ужъ не было. Графиня тогда скончалась, а Майскій женился...

— Да! Все это тогда такъ скоро случилось, что и теперь я припоминаю о томъ, какъ о снѣ. Но я не уѣзжала изъ Петербурга, а жила тогда очень спокойно, почти никого не видала, и мы тогда съ вами не встрѣчались—исключая лишь одного раза.

— Когда же это? Я такъ хорошо помню все, что касается васъ... Какъ же я могъ забыть объ этомъ?

— Неужели вы меня не узнали?

— Васъ не узналъ!? удивленно спросилъ я.

— Да, вѣрно не узнали. Помните маскарадъ въ Дворянскомъ Собраніи? Маска была—я.

Я такъ пораженъ былъ этимъ признаніемъ, что не находилъ словъ.

— Что дѣлаетъ Майскій, имѣете ли вы о немъ извѣстія?

Марья Васильевна сдѣлала мнѣ этотъ вопросъ совершенно спокойно; точно она говорила о хорошемъ знакомомъ, а не о человѣкѣ, погубившемъ всю радость и счастье ея жизни и даже самую жизнь.

Я посмотрѣлъ на нее внимательно. Нѣтъ, ни одна жилка на лицѣ ея не выдала внутренняго волненія. Глаза оставались такъ же спокойны, какъ и во все время разговора; голосъ ея не повышался и не понижался, когда она задавала мнѣ этотъ вопросъ.

— Его не было въ Петербургѣ послѣднее время, отвѣчалъ я, такъ что я совсѣмъ не знаю, гдѣ онъ. Я знаю только, что онъ овдовѣлъ года два тому назадъ.

— Онъ не женился опять въ эти два года?

— Кажется, нѣтъ! Развѣ въ послѣднее время...

— Ему бы слѣдовало опять жениться, а то онъ окончательно пропадетъ, продолжала Марья Васильевна тѣмъ же безмятежнымъ голосомъ.

Я посмотрѣлъ на нее съ такимъ изумленіемъ, что она спросила меня съ какою-то неопредѣленною, блѣдною улыбкою:

— Васъ удивляетъ, что я о немъ такъ говорю? Теперь я спокойна. Все прошедшее болѣе не существуетъ для меня... На морѣ у васъ это состояніе называется—штилемъ, а въ жизни это—усталость. Теперь я чувствую безмятежное спокойствіе, нравственный отдыхъ. Я ничего не желаю, ничего не ищу, никому не завидую; я отдыхаю. Посмотрите на всю эту обстановку... Это, точно, забытый на землѣ рай, и я пользуюсь имъ, пока силы мои еще не совсѣмъ истощены. Какъ вамъ сказать! это—нравственная смерть, и я рада ей. Она учитъ меня смотрѣть на настоящую грядущую смерть спокойно, безъ ропота, безъ страха; словно, я смотрю на себя со стороны. *с. Кавбарт*

— Я не могу вѣрить въ это полное отчужденіе отъ самой себя, замѣтилъ я.

Марья Васильевна улыбнулась, точно изъ жалости ко мнѣ, что я не могу понять ее.

— Вы думаете, продолжала она, что уста говорятъ—*ich grolle nicht*, а въ душѣ такъ и кипятъ слезы объ

утраченной жизни. Нѣтъ, вы ошибаетесь. Я нравственно уже подорвана, такъ что и жалѣть о себѣ нѣтъ силъ.

— Все-до поры до времени, замѣтилъ я.— Вотъ вы поправитесь. Жизнь опять охватитъ васъ со всѣми ея животрепещущими ощущеніями, и вы опять заживете на славу... продолжалъ я, чтобы что нибудь сказать.

— Отчего вы не говорите правду? т. е. то, что вы, дѣйствительно, думаете? возразила тихо Марья Васильевна.— Вы сами видите: въ какомъ я состояніи. Хорошо, если я до весны проживу; но, можетъ быть, мое мытарство и раньше кончится.

Я ничего не отвѣчала и смотрѣла на нее, невольно удивляясь ея безропотному, спокойному отреченію отъ всякой надежды.

— Отчего вы это такъ смотрите на меня? заговорила она.— Я непонятна для васъ? Да, оно и не можетъ быть иначе. Вы—молоды, вся жизнь у васъ еще впереди. Вы—полны жизни, надеждъ, грѣзъ и вы не можете постичь то, что я испытываю. Я не заслуживаю ни состраданія, ни жалости. Я уже говорила вамъ—я *отдыхаю*.

Марья Васильевна замолчала и, отбросивъ свою голову назадъ, на мягкую подушку кушетки, всю граціозной позой производила такое же впечатленіе, какое производитъ человѣкъ, безмятежно, сладко отдыхающій послѣ перенесенныхъ имъ страданій...

— Давно вы не видали Майскаго? спросилъ я.

— Послѣ того маскарада мы не видались съ нимъ! Я никогда болѣе и не старалась встрѣчаться, случай же не сводилъ насъ.

— Марья Васильевна! обратился я къ ней.—Я знаю самыя выдающіяся эпохи вашей жизни. Вы сами мнѣ сказали, что непонятная случайность сдѣлала изъ меня человѣка, вамъ почти не знакомаго, повѣреннаго вашихъ тайнъ. Вспомните же то, что я не знаю, объясните мнѣ связь между нашими тремя встрѣчами...

Марья Васильевна сперва не отвѣчала, но потомъ, приподнявшись на кушеткѣ, заговорила тихимъ голосомъ, точно хотѣла соразмѣрить его съ своими силами.

— О первой нашей встрѣчѣ мнѣ почти нечего вамъ рассказывать, начала она. Развѣ остается только добавить, что оторванная отъ родной матери, отъ обстановки бѣдности и нужды, я никогда не могла привыкнуть къ той жизни, которую заставляли меня вести. Сперва въ пансіонѣ, а потомъ и у самой графини—я чувствовала, что я—не въ своей средѣ. Мысль о томъ, что моя мать — одна одиноконька, до глубокой ночи сидитъ и работаетъ, чтобъ пропитать себя, — была часто пыткой для меня. Я была слишкомъ горда, чтобъ просить у графини денегъ, а она не догадывалась, или, можетъ быть, ей не хотѣлось помогать моей матери. Отца я никогда не знала. Онъ жилъ съ моею матерью порознь съ перваго же года ихъ женитьбы и умеръ,

когда мнѣ не минуло еще 5 лѣтъ. Мать меня любила страстно. Я не знаю: чѣмъ бы она не пожертвовала для меня. Когда я жила у графини, то по субботамъ ѣздила къ моей матери и рассказывала ей обо всемъ, что случалось со мною на недѣлѣ. Когда, подростая, я поняла наконецъ, что люблю Майскаго, она была моимъ единственнымъ повѣреннымъ. Долгіе часы просиживали мы съ нею вмѣстѣ, толкуя о немъ, составляя планы счастливаго будущаго. Оно разрушилось... Вы помните: Майскій полюбилъ другую—нѣтъ, не буду я этого говорить, и до сихъ поръ я этому не вѣрю. Онъ женился не по любви, а для свѣта, чтобъ не лишиться наслѣдства. Еслибъ у меня было состояніе, то, конечно, онъ предпочелъ бы меня... То было единственное свѣтлое время моей жизни. Не хочу я его портить и теперь... Богъ ему простить за его бездушіе! Я все таки благодарна ему за тѣ счастливые дни, полные любви и поэзіи... Я не была у него на свадьбѣ. Я лежала тогда въ горячкѣ. Когда же я оправилась, онъ жилъ за границею, ведя съ женою свѣтскую, веселую жизнь. Вскорѣ послѣ свадьбы графиня тяжело захворала и умерла. Это была первая смерть, при которой я присутствовала, и она поразила меня. Такъ умирать, какъ она умирала, тяжело. Страхъ, неопредѣленное безпокойство, явный ужасъ читались у нея на лицѣ.

— Въ самый день смерти она передала мнѣ свое ду-

ховное завѣщаніе. Я и не обратила на него вниманія и лишь на третій день прочитала его. Оно было написано въ мою пользу. Графиня оставляла мнѣ все свое состояніе, прося у меня прощенія. Потомъ я узнала, что во время болѣзни моя мать вела съ нею долгіе, горячіе споры; узнала также и то, что старуха была чѣмъ-то возмущена противъ Майскаго. Какъ вамъ передать все то, что я испытала, читая это завѣщаніе? Первая моя мысль, первое мое чувство было—злорадство... Да! злорадство... Въ моей власти было наказывать, отмстить за себя, за пережитое мною горе. Потомъ мнѣ сдѣлалось противно, стыдно и гадко за себя, за весь этотъ пошлый міръ, и я рѣшилась не пользоваться завѣщаніемъ. Пускай! Если я была брошена ради денегъ, то эта жертва оказалась лишнею. Въ этой мысли я находила себѣ странное утѣшеніе.

— Послѣ смерти графини я переселилась къ моей матери, продолжала Марья Васильевна.—Трудно, но хорошо было мнѣ жить своими трудами. Я давала уроки, мать моя шила. Мы жили спокойно, безъ особой нужды, такъ—мѣсяцевъ 6 или 7. Вдругъ моя мать захворала и захворала серьезно. Тутъ я узнала въ первый разъ дѣйствительную нужду. Всѣ цѣнныя бездѣлушки были проданы. Я бросила уроки, чтобъ ухаживать за матерью... Вотъ въ это время я познакомилась покороче съ моимъ мужемъ. Я давала уроки въ семьѣ его сестры, и мы часто тамъ встрѣчались.

Невидавъ меня тамъ нѣсколько времени, онъ разузналъ мой адресъ и посѣтилъ меня. Я ему буду всегда признательна за то, что онъ улаживалъ своими утѣшеніями послѣднія минуты жизни моей матери. Я была тогда какъ сумасшедшая, и совершенно не знала, что дѣлала—до того я растерялась.

Мой мужъ помѣстилъ меня къ своей сестрѣ. Холодный и сдержанный на видъ, онъ былъ очень добрѣ ко мнѣ. Можетъ быть, встрѣтивши его раньше, я могла бы полюбить его. Но мы встрѣтились не во время. Въ этомъ—вся ошибка моей жизни...

Мѣсяцевъ черезъ восемь послѣ смерти моей матери, онъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе. Чтожъ! я вышла за него. Для мужа моего, мнѣ казалось, достаточно было женщины послушной, хорошей хозяйки... Онъ казался мнѣ сухимъ, не общительнымъ, вѣчно занятымъ своими дѣловыми бумагами. Мнѣ все казалось, что онъ никогда не будетъ въ состояніи понять меня, сдѣлаться мнѣ другомъ. Я согласилась за него выйти потому, что мнѣ все равно было: идти ли за него или за другого. Я передъ нимъ глубоко виновата и только потомъ, когда между нами было все кончено, я поняла, что подъ холоднымъ, безстрастнымъ видомъ онъ скрывалъ любящее, горячее сердце. Отчего мы раньше не встрѣтились? Мы могли бы оба быть счастливы... Мѣсяцъ же спустя послѣ моей свадьбы, я узнала, что Майскій овдовѣлъ. Все въ моей жизни, какъ вы ви-

дите, случилось не вѣ время. Въ этомъ, повторяю я, вся ошибка моей жизни.

Марья Васильевна замолчала и смотрѣла въ далекое небо, гдѣ тучки тихо плыли одна за другою...

Мы оба долго молчали.

— Няня! позвала вдругъ Марья Васильевна.

Старушка явилась, съ большими круглыми очами на носу и съ вязаньемъ въ рукѣ.

— Принеси-ка шкатулку! приказала ей Марья Васильевна.

Старушка принесла ящикъ орѣхового дерева, (такіе ящики теперь уже вышли изъ моды, а прежде ихъ можно было найти почти въ каждой семьѣ). Марья Васильевна достала изъ ящика большой, не запечатанный конвертъ.

— Александръ Владиміровичъ! обратилась она ко мнѣ, когда мы опять остались вдвоемъ.—Могу я васъ попросить—оказать мнѣ одну и послѣднюю услугу?

— Все, что въ моихъ силахъ... все будетъ исполнено! отвѣчалъ я.

Марья Васильевна опять замолчала и потомъ почти шепотомъ промолвила:

— Это—завѣщаніе графини. Когда меня не будетъ на свѣтѣ, когда вы узнаете, что я умерла, то отнесите это Майскому; пускай онъ узнаетъ: чѣмъ онъ обязанъ мнѣ... Исполните вы мою просьбу? скажите!

Я, конечно, общалъ ей, хорошо понимая, что на-

вело ее на эту мысль, *что* у нея было на душѣ въ тѣ минуты.

Марья Васильевна заперла шкатулку и совершенно другимъ уже голосомъ продолжала:

— А теперь перестанемъ говорить обо мнѣ. Долго ли вы еще будете съ вашимъ кораблемъ стоять въ Виллафранкѣ?..

И мы принялись болтать о совершенно постороннихъ предметахъ.

Весь вечеръ провели мы вмѣстѣ. Конечно, я забылъ о балѣ и, вернувшись одинъ на корветъ, записалъ это третье и послѣднее свиданіе.

* *
*

15 мая, Петербургъ.

Совершенно случайно я узналъ сегодня о кончинѣ Марьи Васильевны. Она умерла въ Каннѣ, въ томъ самомъ домикѣ, гдѣ я видѣлъ ее въ послѣдній разъ.

Съ Майскимъ я встрѣчался очень рѣдко. Онъ велъ разгульную жизнь, свойственную извѣстнымъ офицерскимъ кружкамъ въ Петербургѣ. Узнавъ его адресъ, я отправился къ нему. Было часа 4, когда я вошелъ къ нему въ квартиру,—и уже изъ передней слышны были мнѣ возгласы: «avec cela»... «reste»...

Шла сильная картежная игра. Майскій въ мундирѣ на распахну въ встрѣтилъ меня.

— Салванаренко! Какими судьбами? Эй, Филиппъ, дай стаканъ вина!

Я отказался отъ угощенія и попросилъ Майскаго въ смежную комнату.

Майскій очень неохотно всталъ и послѣдовалъ за мною.

— Скажите мнѣ, Майскій, спросилъ я его, когда мы остались одни въ комнатѣ,—отъ кого вы получили ваше состояніе?

— Отъ графини Осташковой. Я былъ ея единственнымъ, дальнимъ родственникомъ, отвѣчалъ онъ удивленно.

— Ну! А если она оставила завѣщаніе не въ вашу пользу и оно теперь было бы представлено,—тогда чтó?

— Что за вздоръ! запинаясь и поблѣднѣвъ, какъ полотно, замѣтилъ Майскій.

— Вотъ ея завѣщаніе, продолжалъ я, смотря на него въ упоръ.—Оно написано не въ вашу пользу.

Майскій смотрѣлъ на меня испуганными глазами; онъ, видимо, терялся отъ этой потрясающей для него вѣсти.

Графиня оставила свое состояніе Марѣ Васильевнѣ Ширковой.

Майскій вдругъ вздохнулъ свободнѣе.

— Вѣдь, она умерла! замѣтилъ онъ.

— Да, она умерла, но за нѣсколько мѣсяцевъ до

смерти, я видѣлъ ее, и она просила меня передать вамъ въ знакъ памяти отъ нея это завѣщаніе. Она, ради васъ, сама не воспользовалась имъ и не хотѣла, чтобы кто нибудь изъ родственниковъ отнялъ у васъ это наслѣдство.

Майскій перебилъ меня.

— Ну, шутникъ же вы, Александръ Владиміровичъ! Вотъ ужъ испугали, такъ испугали, а я и не воображалъ даже отъ нея такой прити... Вотъ, такъ благодарю, не ожидалъ! и Майскій весело разсмѣялся.—Ну, а теперь пойдѣмъ! продолжалъ онъ, кидая небрежно на столъ завѣщаніе.

— Вѣдь, стакачичъ же все таки выпить нужно.

— Нѣтъ, благодарю! отговаривался я, идя къ двери.

Въ дверяхъ я остановился и посмотрѣлъ на него.

Его взглядъ такъ и высказалъ мнѣ мелькнувшую у него въ головѣ мысль. «А ему-то до всего этого какое дѣло?» говорилъ этотъ взглядъ.

НЕ ПОДЪ СИЛУ.

(ПОВѢСТЬ).

*

НЕ ПОДЪ СИЛУ.

(Повѣсть).

Была чудная, тихая ночь.

Корабли нашего флота, какъ великаны, отражались на темно-синей поверхности водъ Чернаго моря. Длинные мачты съ обтянутыми парусами гордо смотрѣли въ безконечное пространство, освѣщенное блѣдною, заходящею луной. На каждомъ кораблѣ виднѣлись фонарики, которые, какъ звѣзды, мерцали въ темнотѣ. Мертвая тишина царствовала повсюду. Только изрѣдка долѣтали съ корабля на корабль длинные, протяжные свистки сигналовъ. Пробыло XI часовъ... Замученные дневной работой матросы пріютились кое-гдѣ: кто—на таляхъ пушекъ; кто—просто, на полу, опираясь спиной о бортъ.

На «Самсонѣ» такъ же всѣ дремали. Лишь одинъ вахтенный начальникъ не спалъ, но, скрестивъ на груди руки и опершись на мачту, глядѣлъ куда-то въ даль.

Онъ зналъ, что тамъ—берегъ, что тамъ—все, что близко его сердцу. И вотъ онъ теперь всматривался въ темъ: не увидитъ ли знакомаго огонька. Вдругъ онъ вздрогнулъ... Съ адмиральскаго корабля, шипя и искрясь, летѣла къ небу ракета и, разсыпаясь тысячею огней, на далекое пространство освѣщала всю мѣстность...

— Фейерверкер! скомандовалъ вахтенный.

И не прошло трехъ минутъ, какъ съ «Самсона»—уже неслась въ глубокую мглу ночи ракета.

Первая ракета значила—«слушай»; вторая значила—«я готовъ».—Вдругъ со всѣхъ сторонъ поднялись такія же ракеты, которыя яркимъ заревомъ на мгновеніе освѣтили одиннадцать военныхъ судовъ. Нѣтъ словъ описать величіе этой картины. На «Самсонѣ» между тѣмъ были всѣ на ногахъ. Капитанъ—сѣдой старикъ съ суровымъ лицомъ, окаймленнымъ сѣдыми, густыми бакенбардами—стоялъ на мостикѣ, и рядомъ съ нимъ съ сигнальной книгой въ рукахъ—вахтенный начальникъ.

Оба они всматривались въ темноту, ожидая сигналовъ. Сперва показался синій огонекъ, потомъ красный, затѣмъ зеленый.

Оба слѣдили, не переводя дыханія.

— Ну что, Акимовъ, нашель? обратился капитанъ къ вахтенному.

— Нашель! отвѣчалъ тотъ, указывая страницу въ

книгѣ.—Адмиралъ требуетъ къ себѣ со всѣхъ судовъ капитановъ.

Сигналы продолжались.

— Приготовить десантъ... проговорилъ Акимовъ.

— Спустить катеръ!.. Тревогу!.. скомандоваль отрывисто капитанъ.

Вдругъ ночная тишина огласилась—и разомъ почти на всѣхъ судахъ—барабаннымъ боемъ.

Минуты черезъ двѣ барабанный бой прекратился, и суда зажглись сотнями фонарей. Тутъ и тамъ раздавались громкія приказанія, свисты, сигналы. Вездѣ шла самая кипучая дѣятельность. Не прошло и десяти минутъ, какъ всѣ шлюпки были спущены на воду, и команды стояли у траповъ, ожидая возвращенія капитановъ. На «Самсонѣ» Акимовъ слѣдилъ съ остальными офицерами за приготовленіями. Когда все было готово, Акимовъ съ товарищемъ взошли на ютъ, стараясь разглядѣть: что происходитъ на другихъ корабляхъ.

— Акимовъ! заговорилъ товарищъ его, Петровъ, блѣкурый юноша съ заспанными глазами. Что значитъ это свѣтопредставленіе — да еще ночью? Вообрази: я только что, было, забылся немного — и вдругъ опять на ноги... А тревога, кажется, не на шутку! Что тебѣ сказалъ капитанъ?

— Ничего не сказалъ, да и самъ онъ ничего не знаетъ.

— Я слышалъ сегодня на берегу, что англійскій

флотъ долженъ быть завтра въ виду! замѣтилъ опять Петровъ.

— Чтожъ ты намъ ничего не говорилъ, вернувшись съ берега? спросилъ Акимовъ.

— Я и забылъ совсѣмъ, отвѣчалъ тотъ, позевывая.

— Спать не даютъ, вотъ что скверно!... докончилъ онъ въ сердцахъ.

— Это что? Смотри!... вдругъ проговорилъ Акимовъ, указывая на приближающіеся издали зеленые и красные фонари. — Пароходы! Такъ и есть пароходы...

Пароходы, не доходя, остановились.

— Просто, сказка изъ тысячи и одной ночи, сказалъ Петровъ, — даже сонъ пропалъ! Неужели это мы всю ночь такъ...

На адмиральскомъ кораблѣ взвилась ракета, за ней другая, а за нею нѣсколько штукъ зарядъ. Потомъ непрерывно онѣ взвивались, не останавливаясь. Вся окрестность ярко освѣщалась. Всѣмъ было ясно, что адмиралъ желалъ освѣтить всю мѣстность. Передъ глазами обоихъ товарищей мелькнуло нѣсколько шлюпокъ, скользившихъ по гладкой поверхности моря.

— Что это они дѣлаютъ? спросилъ Петровъ.

— Буера разставляютъ, отвѣчалъ Акимовъ.

Настала опять темнота. Но опытному глазу замѣтно было, что на буерахъ качались разноцвѣтные фонари, какъ искры, мелькавшіе въ темнотѣ. Команда,

не шевелясь, стояла на-готовѣ; опять водворилась тишина. Лишь плескъ, производимый веслами возвращающихся въ адмиральскому кораблю шлюпокъ, отчетливо раздавался въ тишинѣ ночи. Скорѣ и этотъ послѣдній шумъ затихъ.

Акимовъ съ товарищемъ, молча, стояли, опираясь на высокій бортъ корабля.

— Былъ ты сегодня на берегу? прервавъ молчаніе, заговорилъ Петровъ.

— Да, былъ.

— Видѣлся съ невѣстой?

— Конечно, видѣлся, отвѣчалъ Акимовъ.

— Что жъ? Скоро свадьба?

— Да гдѣ тутъ — съ этой войной о свадьбѣ думать, — возразилъ Акимовъ. — Надо ждать... Мнѣ-то еще ничего, а ей-то, бѣдняжкѣ, каково! Она, еще избалованный ребенокъ, нашла въ себѣ столько силы воли, что бросила все для меня, покинула родителей и все для того, чтобы быть вмѣстѣ со мной... И чтожъ! Оказывается ей нужно ждать... Ты пойми: ждать, быть постоянно въ разлукѣ, теперь — когда у обоихъ изъ насъ такъ и ноетъ сердце, такъ и рвется душа — хотъ взглянуть другъ на друга... Я подавалъ прошеніе, чтобы дозволили мнѣ жениться. Отказали... Да и въ самомъ дѣлѣ! О свадьбѣ ли теперь думать офицеру... А все-таки — тяжело! Ухъ, какъ тяжело...

Акимовъ замолчалъ, тяжело привздохнувъ.

— Какъ ты съ ней познакомился? спросилъ его Петровъ.—Ты все общалъ мнѣ разсказать...

— Эхъ, другъ мой, что это были за чудные, свѣтлые дни, — сталъ разсказывать Акимовъ, садясь на ванты. Помнишь, я въ прошедшемъ году въ отпускъ ѣздилъ къ дядѣ въ деревню. Кромѣ его и его дочери, Насти, у меня родныхъ нѣтъ. Онъ мнѣ былъ всегда какъ отцомъ роднымъ. Жилъ я у него тѣмъ съ мѣсяцъ и сталъ скучать... Настѣ было 15 лѣтъ, а дядѣ подъ 50. Съ сосѣдами мы не видались, такъ что я одинъ одишеченекъ по пѣлымъ днямъ бродилъ по полямъ и лѣсамъ. Сестра была для меня слишкомъ молода, а дядя—слишкомъ старъ. Ходилъ я въ ту пору по-русски—въ кумачной рубахѣ, часто помогая крестьянамъ то накласть стогъ сѣна, то навьючить на телегу копну хлѣба.

Разъ я какъ-то зашелъ далеко, сбился съ дороги и, колеса по неизвѣстной мнѣ мѣстности, усталъ до-нельзя. Я только что, было, прилегъ отдохнуть подъ тѣнью незнакомой мнѣ рощи, какъ вдругъ послышался женскій голосъ.

— Мужичекъ! А, мужичекъ! подойди-ка сюда! кричалъ кто-то, очевидно, обращаясь ко мнѣ.

Я осмотрѣлся. Шагахъ въ десяти отъ меня верхомъ на рыжей лошадеѣ сидѣла дѣвушка и рукой подзывала меня къ себѣ. Я подошелъ къ ней. Какъ хороша она была тогда!... Разгорѣвшися отъ скорой

Їзды щеки ея пылали яркимъ, свѣжимъ румянцемъ. Большіе черные глаза искрились дѣтскою веселостію. Стройный и высокій ея станъ склонялся немного впередъ. Что-то граціозное, беззаботное было во всей ея позѣ... я подошелъ ближе.

— Поди же, пожалуста, подпругу! обратилась она ко мнѣ.—Сѣдло—я боюсь—перевернется. Вотъ такъ, смотри!..

Она говорила это, не смотря на меня.

— Вы должны слѣзть, такъ исправить невозможно, сказалъ я ей.

Вѣроятно, что-то въ голосѣ моемъ удивило ее, и она пристально посмотрѣла на меня.

— Да съумѣешь ли ты опять посадить меня? спросила она.

Я отвѣчалъ ей, что постараюсь. Она спрыгнула съ лошади и смотрѣла: какъ я переосѣдывалъ ея лошадь.

— Какъ вы не боитесь чздить однѣ? замѣтилъ я.

Дѣвушка посмотрѣла на меня.

— Извините, я васъ приняла за..... очень вамъ благодарна! слегка покраснѣвъ, замѣтила она, видя что сѣдло опять на мѣстѣ.

Я помогъ ей сѣсть на лошадь, и она, кивнувъ головкой, усккала въ даль.

Я долго слѣдилъ за нею глазами. Никогда еще въ жизни не испытывалъ я такого чувства! Это было что-

то въ родѣ смятенія радости, какой-то необычайной душевной теплоты. Тебѣ это страннымъ покажется, а я тогда же понялъ, что что-то новое, неиспытанное происходило во мнѣ...

На слѣдующій день я опять сидѣлъ въ этой же самой рощѣ. Незнакомка опять проѣхала мимо меня, отвѣчая поклономъ на мой поклонъ.

Такъ прошло нѣсколько дней. Я не старался съ ней познакомиться. Въ этихъ случайныхъ, минутныхъ свиданіяхъ была какая-то особенная прелесть, которая скрашивала мою ежедневную, безмятежную жизнь. Разъ кузина попросила меня покататься съ нею въ шарабанѣ. Я, конечно, согласился и, не давая себѣ отчета, направилъ лошадь къ знакомой мнѣ рощѣ. Настя была въ очень веселомъ настроеніи духа, — пѣла и шалила во все время дороги. У самаго вѣзда въ рощу мы встрѣтились съ моей знакомкой. Настя ей поклонилась. Незнакомка на меня посмотрѣла удивленно... Тутъ я остановилъ лошадь, и между нами скоро завязался разговоръ.

Незнакомка оказалась дочерью сосѣдняго помѣщика, Корнѣева. Я привязалъ лошадей къ дереву, и мы втроемъ усѣлись подъ тѣнью вѣковой липы, весело болтая. Помнится мнѣ, какъ я не умолкалъ ни на минуту, шутя и рассказывая имъ о своихъ путешествіяхъ. О первой нашей встрѣчѣ не было сказано ни слова. Маша Корнѣева казалась также очень ве-

селою... Мы долго сидѣли такъ, толкуя и не замѣчая приближавшейся грозы. Первая замѣтила ее Настя.

Маша Корнѣева пригласила насъ переждать грозу въ себѣ въ домъ, который былъ всего за версту отъ этой рощи.

Мы согласились—и во весь духъ пустили лошадей. Настя смѣялась, громко вскрикивая при тряскахъ. Маша неслась на своей рыжей лошадекъ рядомъ съ нами, перекрикиваясь съ нами на всемъ скаку. Но туча опередила насъ, и послѣднюю сотню сажень мы неслись уже подъ проливнымъ дождемъ.

Мокрые съ ногъ до головы вошли мы въ домъ. Маша представила насъ своимъ родителямъ, рассказавъ имъ, какъ мы встрѣтились. Родители Маши—старосвѣтскіе помѣщики. Отецъ ея когда-то гдѣ-то служилъ, что и давало ему право—носить старую военную фуражку. Я никогда иначе не видалъ его, какъ въ пестромъ, татарскомъ халатѣ, подпоясанномъ кожанымъ ремнемъ. Сухое, морщинистое лицо его было всегда гладко выбрито, какъ подобаетъ истому военному. Трубка у него служила чѣмъ-то въ родѣ фельд-маршальскаго жезла: она составляла, какъ будто, часть его самого. Онъ указывалъ ею на предметы, ею грозилъ, на нее опирался и ею же притягивалъ къ себѣ въ объятія свою дочь. Съ перваго же раза я замѣтилъ, что онъ былъ полнымъ, неограниченнымъ властелиномъ всего дома. Жена его, мать Маши, была маленькая,

тщедушная, безотвѣтная женщина. Она, обыкновенно, разливала чай, кофе, варила варенье и вообще слѣдила за домашнимъ хозяйствомъ. Это была—не жена, а—ключница. Будучи очень набожна, она не пропускала ни одной церковной службы. Единственнымъ выдающимся ея качествомъ была любовь къ дочери. Часто замѣчалъ я, какъ заботливо смотрѣла она на Машу. Иногда накопившіяся слезы заставляли блестѣть ея глаза, полные выраженія безпредѣльной, материнской любви.

Мы были приняты довольно сухо. Особенно самъ Корнѣевъ оказался нелюбезенъ. Только уже за кофеемъ, узнавъ, что я—военный, бывалъ въ дѣлахъ и раненъ, онъ немного смягчился.

Онъ все повторялъ: «что теперь за служба!».

— Вотъ въ наши времена—такъ была служба! По три часа приходилось ружье на караулъ держать, говорилъ онъ мнѣ, дѣлая трубкой на караулъ;—такъ что судорога, бывало, такъ и сводитъ вамъ руки. Вотъ служба—такъ служба! За то и молодцы были! Скажу я вамъ, что на парадѣ цѣлый полкъ двигался, какъ одинъ человекъ. Разъ, два,—разъ, два... точно машина! А знаки отличія у васъ есть? спросилъ онъ.

— Какъ же! горячо вступилась тутъ Настя.—У него георгіевскій крестъ и Анна на шеѣ.

Я засмѣялся.

Корнѣевъ оглянулъ мой мужицкій костюмъ и укоризненно посмотрѣлъ на меня.

— Не хорошо, молодой человѣкъ! ко мнѣ, какъ къ полковнику, вы должны бы явиться въ мундирѣ.

Мама смотрѣла на меня съ любопытствомъ.

— А сколько вамъ лѣтъ? обратился онъ опять ко мнѣ.

— 26! отвѣчалъ я.

— Непонятно!.. я, вотъ, 20 лѣтъ служилъ—и чтожъ! Станиславика третьей степени имѣю—да и то горжусь... А вы, вотъ и георгіевскій имѣете и Анну,—и даже не носите! Нехорошо! Это—вольномудство...

Дождь не переставалъ и мелкой дробью билъ въ окна. Корнѣевъ, замѣтивъ мой взглядъ, пытливо выматривавшій небо, не говоря мнѣ ни слова, крикнулъ человѣка.

— Скажи Кузькѣ, чтобы онъ осѣдлалъ Криваго, да въ Голубятное смахалъ: сказать, что барчуки у меня и ночевать, пожалуй, останутся, коли дождь не перестанетъ. Да, бишь, еще чтобы онъ захватилъ съ собою... какъ васъ зовутъ?

Я назвалъ себя.

— Николая Александровича мундиръ—понимаешь, полный мундиръ.

Корнѣевъ говорилъ это такъ, какъ будто меня не было въ комнатѣ. Меня невольно это смѣшило.

Мы остались обѣдать. Обѣдъ прошелъ скучно. Кор-

нѣвъ заставлялъ всѣхъ слушать безцвѣтныхъ воспоминанія его молодости. Послѣ обѣда онъ ушелъ отдохнуть. Старушка Корнѣева также удалилась. Настя сѣла за фортепiano. Мы остались съ Машей одни.

— Вамъ скучно у меня? обратилась она ко мнѣ.

— О, далеко не скучно! замѣтилъ я. — Особенно теперь...

— Какъ бы мнѣ хотѣлось пожить той жизнью, о которой вы рассказывали, продолжала она, — взглянуть на бѣлый свѣтъ. Я живу тутъ и весь остальной міръ закрытъ для меня. Я его знаю лишь по книгамъ. Вы не смѣйтесь надо мной, если я скажу что нибудь такое странное... Вѣдь, я—диварка

Я смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ.

— Вы не можете понять, какъ я рада случаю поговорить съ вами, наивно продолжала она. — Будьте только добры и снисходительны... Я думаю, что только тогда можно знать и многое постигнуть, если сталкиваешься и живешь съ людьми различныхъ мнѣній. Иногда я читаю и чувствую, что мысли и мнѣнія, изложенныя въ книгѣ, ложныя, а понять—въ чемъ состоитъ ихъ ложь—я не могу.

— Какія же книги вы читали? спросилъ я.

— Все, что попадалось мнѣ подъ руку. У меня былъ братъ въ московскомъ университетѣ. Онъ умеръ 2 года тому назадъ и сюда привезли всю его библіотеку. Съ тѣхъ поръ я стала жить. Но не знаю: на счастье ли

произошла во мнѣ эта перемѣна? Прежде я была спокойна, довольна всѣмъ, а теперь такъ и рвешься на свободу—подышать свѣжею жизнью. Вы на меня укоризненно смотрите — и я понимаю вашу мысль. Но что же мнѣ дѣлать, если *это* сильнѣе меня! Моя жизнь—вѣдь, не жизнь, а смерть. Это — постоянное, тихое, невозмутимое спокойствіе.

— Чего же вы хотите? спросилъ я ее.

— Чего я хочу? Жить, а не прозябать хочу я. Чтò я ни дѣлала, чтобъ занять себя: лѣчила больныхъ, завела школу, обучала крестьянскихъ дѣвочекъ, мальчиковъ... Но это все—не *то*. Я, которая ничего не знала, учила другихъ, когда самой хотѣлось еще учиться. Я самой себѣ казалась жалкою.

— Отчего же? возразилъ я. — Вѣдь каждому изъ насъ данъ кругъ, изъ котораго не слѣдуетъ ему выходить. Цѣль жизни — работать въ своей средѣ. Вы думаете, что вы не можете принести громадной пользы здѣсь, у себя, въ вашемъ селѣ? Кто знаетъ? Если вы выйдете изъ этого круга, то еще, быть можетъ, хуже станеть... Кругомъ будетъ заманчивая, кипящая дѣятельность, а судьба заставитъ васъ оставаться, сложа руки; тогда вамъ будетъ еще тяжелѣе. Извините, если я напомню вамъ русскую, прозаичную поговорку: «каждый сверчокъ знай свой шестокъ!» Жизнь въ деревнѣ представляетъ вамъ громадный кругъ многостороннихъ занятій. Займитесь вы въ вашей школѣ не

только азбукой и арифметическими задачами, а приучайте ваших учениковъ къ пониманію жизни, нравственности, ихъ обязанностей. Я вамъ рассказывалъ о моей жизни,—и вы видите только блестящую ея сторону. А, вѣдь, есть же и такія минуты, когда дорого бы я далъ, чтобъ жить тою спокойною жизнью, на которую вы теперь жалуетесь... Въ теченіи цѣлыхъ часовъ стоять въ темнотѣ, на стужѣ, промокнувъ до костей, ничего не видя—и это каждый день! Далеко—не заманчиво, хотя все это и приходилось бы продѣлывать на другомъ полушаріи...

Дѣвушка пытливо посмотрѣла на меня.

— И вы согласились бы переменить образъ жизни и жить, какъ я, въ деревнѣ? спросила она.

— Конечно, согласился бы, но не одинъ, а женившись—для того, чтобы быть въ состояніи съ кѣмънибудь обмѣняться мыслями, имѣть вѣрнаго друга, жить съ нимъ общою, двойною жизнью...

Насъ прервала Настя... Удивительно, какъ дѣти всегда съумѣютъ помѣшать нескати.

Разговоръ сдѣлался общимъ. Вечеромъ за нами пріѣхалъ крытый тарантасъ, и мы простились съ хозяевами, общаясь черезъ нѣсколько дней вернуться опять.

Корнѣевъ довольно любезно пожалъ мнѣ руку.

Странно, скучно мнѣ было слѣдующіе дни. Въ рошу я не смѣлъ теперь идти: мнѣ казалось, что я не

имѣлъ на то права. Черезъ нѣсколько дней, мы опять были у Корнѣевыхъ. Они также навѣстили и насъ. Потомъ я сталъ прискивать всевозможные предлоги, чтобъ навѣщать ихъ почти ежедневно. Съ Машей у насъ заходили иногда долгіе и горячіе споры. Старики Корнѣевы почти не обращали вниманія на меня. Я нѣсколько разъ ходилъ съ Машей въ школу. Она учила дѣтей съ любовью, твердила имъ безчисленное количество разъ одно и тоже съ неизмѣримымъ терпѣніемъ. И я, было, принялся учить, но мнѣ это не далось. Мальчишки у меня въ концѣ урока играли въ чехарду, а дѣвочки перебрасывались, чѣмъ попадо. Маша смѣялась отъ души... Изъ школы мы возвращались домой вдвоемъ. Она опиралась на мою руку...

Такъ прошли два мѣсяца. Мы жили съ Машей одной жизнью, однѣми мыслями, какъ-то инстинктивно предугадывая желанія другого. Она уже не жаловалась на пустоту жизни, была весела, а иногда даже и рѣзвилась съ Настей, какъ дитя. Насталъ, наконецъ, срокъ моего отпуску. Когда я объявилъ вечеромъ за чаемъ у Корнѣевыхъ, что дней черезъ пять ѣду, то Маша ничего не сказала, но, поблѣднѣвъ немного, только посмотрѣла на меня. На слѣдующій день я украдкою ушелъ изъ дома и отправился въ рошу. Мы не уговорились сойтись тамъ, а все-таки я былъ увѣренъ, что встрѣчусь съ нею тамъ. Не повѣришь, какъ сильно билось у меня сердце, когда, подходя къ рошѣ,

*

увидать я «Дружка», знакомую мнѣ рыжую лошадь. Она стояла привязанная и лѣнливо щипала листья березки. Шагахъ въ двадцати отъ нея, прислонясь къ стволу дерева, сидѣла Маша. Она была блѣдна и казалась изнеможенной. Скорыми шагами я подошелъ къ ней и протянулъ ей руку. Она не встала. Я сѣлъ возлѣ нея... Между нами не было сказано ни слова. Ея рука оставалась въ моей. Я обнялъ ее, и она, склонивъ голову на мое плечо, прошептала:

— Вотъ—жизнь! Теперь я знаю ее. Безъ любви—нѣтъ жизни!

Это были первыя ея слова. Долго сидѣли мы тѣмъ. О будущемъ мы и не думали. Сидя рука объ руку, мы говорили о нашей любви, о нашей прошедшей жизни... Въ тѣ минуты для насъ, кромѣ насъ самихъ, не существовало никого на свѣтѣ. Тщетно съ удивленіемъ посматривалъ на насъ «Дружокъ»: мы не замѣчали его нетерпѣнія. Только когда сумерки стали уже затемнять окружающіе насъ предметы—мы очнулись. Что жъ тебѣ рассказывать далѣе!... Каждый день послѣ того мы встрѣчались тѣмъ...

Разъ собрался я съ духомъ, одѣлъ парадный мундиръ, ордена и отправился къ Борнѣеву просить у него руки Маши.

Старикъ принялъ меня еще угрюмѣе обыкновеннаго. Когда я, запинаясь и краснѣя, сдѣлалъ предложеніе, онъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, опираясь

на свою трубку и ничего не говоря. Наконецъ, онъ остановился передо мною и скороговоркою спросилъ:

— Какое у васъ состояніе?

— Никакого, отвѣчалъ я. — Для жизни у меня — одно жалованье.

Корнѣевъ опять зашагалъ, размахивая трубкой. Наконецъ, онъ опять всталъ передо мной.

— Не годится, совсѣмъ не годится! Я свою дочь за голая не отдамъ. Нѣтъ-съ! Прощайте!

И, повернувшись, онъ вышелъ изъ комнаты.

Я стоялъ, какъ ошеломленный, не двигаясь. Грубое обращеніе старика было такъ неожиданно, что я никакъ не могъ придти въ себя.

Скрипъ отворившейся двери вывелъ меня изъ оцѣпенѣнія. Ко мнѣ на цыпочкахъ скорыми шагами подходила старушка Корнѣева.

— Ничего, обойдется! говорила она мнѣ шепотомъ, успокоивающимъ голосомъ. — Будете ли вы только ее любить? Молитесь Богу, все подастъ Онъ вамъ. Пускай Машенька счастлива будетъ, пускай хоть она по сердцу себѣ друга найдетъ, не загубить жизнь свою.

Я смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ. Кроткая, без-отвѣтная женщина эта сдѣлалась для меня въ эту минуту лучшимъ другомъ. Изъ нѣсколькихъ словъ я понималъ разбитую ея жизнь. Въ звукѣ голоса чувствовалось, какъ велика была ея жертва — и мнѣ стало

страшно жаль ее. Я поцѣловаль у нея руку. Она вся въ слезахъ поцѣловала меня...

— Да поможеть вамъ Богъ! прошептала она.—Только любите ее... Онъ поможеть!

Звуки приближавшихся шаговъ заставили ее броситься къ двери. Вошедшій лакей попросилъ меня удалиться. Никогда не забуду я въ ту пору испытанной мною ярости. Какимъ глупымъ казался я себѣ въ своемъ парадномъ мундирѣ!...

Въ рошѣ поджидала меня Маша.

— Не бойся, милый! бросаюсь мнѣ на шею, говорила она.—Я буду тебя ждать хоть всю жизнь, лишь бы мнѣ знать, что ты любишь меня...

— Кто гребеть? послышался вдругъ громкій голосъ вахтеннаго матроса.

— Капитанъ фрегата «Самсонъ»! отозвался голосъ въ темнотѣ.

Акимовъ взбѣжалъ на мостикъ.

— Фальберныхъ къ правому борту! Почетный караулъ на мѣста! покрикивалъ онъ, отвлеченный обязанностями службы отъ своего разсказа.

Капитанъ былъ блѣденъ и угрюмо отдавалъ приказанія.

На шпиль подымали якорь. Были приготовлены буксиры.

— Дайте сигналъ пароходу «Олегу», чтобъ онъ принималъ буксиръ,—между прочимъ приказалъ капитанъ.

Сигналь былъ поданъ.

Шипя и пыхтя, подошель «Олеги» и взяли буксиръ.

— Дайте ходъ впередъ! Къ третьему красному буеру! командовалъ капитанъ, крича въ рупоръ.

Онъ стоялъ на мостикѣ, сердито выкрикивая приказанія. Надѣтая на затылокъ шапка, изъ-подъ которой выглядывали сѣдые, густые волосы, придавала ему особенный видъ рѣшимости и дикой отваги.

Буеиры натянулись, какъ струны, и громада тронулась съ мѣста.

— Якоря заготовить! скомандовалъ капитанъ.

Тихо двигаясь, «Олеги» подвели «Самсона» къ красному буеру.

— Отдавай! заревѣлъ капитанъ.

И якорь въ нѣсколько сотъ пудовъ вѣса съ шумомъ и трескомъ полетѣлъ въ воду, орошая весь носъ корабля пѣнистыми брызгами.

— Звать всѣхъ на шканцы! скомандовалъ капитанъ.

Десятокъ свистковъ повторилъ команду.

Всѣ шли на шканцы и съ обнаженной головой выжидали, что будетъ. Слишкомъ 800 человекъ стояли, пытливо всматриваясь въ капитана, стоявшаго на мостикѣ, тускло-освѣщенномъ фонарями.

Глубокая тишина водворилась на всей палубѣ.

— Ребята,—раздался громкій голосъ капитана.—

Возьмите всё свои пожитки и каждый—по койкѣ. Четыре баркаса и пароходъ «Олеги» примутъ ваши вещи. Черезъ два часа «Самсона» не станетъ. Мы его потопимъ. Торопитесь!

Капитанъ кончилъ. Но никто не шевелился. Всѣ стояли въ изумленіи, почти не вѣря приказанію.

— Бить тревогу! приказалъ капитанъ.

Раздался громкій бой барабановъ. Вся команда разсыпалась въ одно мгновеніе по всему кораблю. Каждый несъ свое добро и спускалъ—кто на баркасѣ, кто на пароходѣ. Всѣ ходили и работали, молча, подъ гнетомъ тяжелаго чувства. Никто не понималъ этого приказанія, что еще болѣе придавало силы тревожному чувству каждаго. Тѣ, которые уложили уже свои вещи, возвращались и стояли въ бездѣйствіи, шепотомъ переговариваясь. Капитанъ не сходилъ съ мостика. Акимовъ взошелъ на ютъ и прислонился къ вантамъ, ожидая окончанія работъ. Къ нему подсѣлъ Петровъ.

— Ну, докончи-ка рассказъ, обратился онъ къ нему.—Можетъ быть, долго теперь не встрѣтимся; Богъ знаетъ, куда насъ разошлютъ,—продолжалъ онъ мягкимъ, взволнованнымъ шепотомъ,—и, обыкновенно, сонные глаза его тревожно посмотрѣли на друга.

— Не много осталось мнѣ рассказывать. Корнѣевъ никакъ не соглашался. Ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы не поколебали его. Тогда мы рѣшились ждать.

Если бы ты зналъ, какъ она, сама плача, утѣшала меня! Она общала меня ждать... На прощаньи старушка Корнѣева благословила насъ. Ухъ, какъ тяжело было уѣзжать съ неизвѣстностью, гнетущею душу. А все таки пришлось уѣхать. Я пріѣхалъ сюда и былъ назначенъ на «Самсонъ» вторымъ вахтеннымъ начальникомъ. Ты знаешь, у насъ съ тобою дѣла много, и рѣдко приходится быть намъ на берегу. Мѣсяца три тому назадъ я отпросился на берегъ. Только что вышелъ я на берегъ, какъ увидалъ опрометью ко мнѣ бѣжавшую Машу. Она почти безъ чувствъ упала мнѣ въ объятія. Между слезъ и поцѣлуевъ, она твердила: «не могу безъ тебя... не могу». Когда она успокоилась я узналъ отъ нея все. Она страшно переѣбилась, исхудала. Глаза ея сдѣлались еще больше и блестѣли лихорадочнымъ огнемъ. Она рассказала мнѣ, что въ первые мѣсяцы разлуки она бодро держалась, работала, занималась школой, ходила въ церковь, молилась по цѣлымъ часамъ, за тѣмъ силы стали ей измѣнять. Одна лишь мать могла ее тогда развлечь. По цѣлымъ ночамъ онѣ просиживали вмѣстѣ. Однажды утромъ отецъ призвалъ ее къ себѣ и объявилъ ей, что за нея сватается одинъ богатый сосѣдъ по имѣнію, что онъ этой свадьбы желаетъ, и что черезъ 3 дня явится женихъ. Она отцу ничего не отвѣчала, а рѣшилась бѣжать. Долго въ эту ночь толковали мать съ дочерью. Мать благословила ее, дала

ей добытый ею паспортъ, отдала всѣ сбереженныя ею деньги и, приговаривая: «будь только счастлива, дитя мое!» позволила ей бѣжать. «И, вотъ, я тутъ—у тебя, милый!» звонко смѣясь, докончила она свой рассказъ. Все пережитое наше горе было забыто и вотъ съ тѣхъ поръ я все ницѣ возможности: какъ бы мнѣ поскорѣе жениться. Да, вотъ, война помѣшала! Теперь мы видимся рѣдко. Она по цѣлымъ днямъ сидитъ на берегу, выжидая: не пріѣду ли я.

— Команда готова! вдругъ, прервавъ разговоръ, доложилъ старшій боцманъ.

Акимовъ поспѣшно удалился.

— Бейте полный десантъ! съкомандовалъ капитанъ.

Въ послѣдній разъ на «Самсонѣ» раздался барабанный бой. Какъ эхо и на остальныхъ десяти судахъ отозвались барабанные сигналы. Въ полномъ порядкѣ, въ глубокой тишинѣ стали матросы спускаться въ баркасы и шлюпки. Капитанъ, подергивая свои густыя бакенбарды, ходилъ скорыми шагами по мостику... На фрегатѣ оставалось еще человѣкъ сорокъ команды...

Капитанъ подозвалъ къ себѣ Акимова.

— Возьмите 8 человѣкъ команды, спуститесь въ трюмъ и пробейте его въ четырехъ мѣстахъ,—да больше проломы дѣлайте! По крайней мѣрѣ, этакъ скорѣе выйдетъ...

Минутъ черезъ двадцать привазаніе его было ис-

полнено, и Акимовъ, весь мокрый, доложилъ о томъ капитану.

Капитанъ пошелъ къ себѣ въ каюту, захватилъ тамъ одну лишь шкатулку и, отодравъ отъ гротъ-мачты корабельную икону, подошелъ къ трапу.

«Самсонъ» медленно погружался въ воду.

Капитанъ не двигался. Онъ приказалъ Акимову спуститься съ остальными матросами въ шлюпку. Весь фрегатъ величаво вздрагивалъ, покачиваясь съ боку на бокъ. Зловѣщій трескъ раздавался отъ времени до времени. А капитанъ все стоялъ у трапа, пристально осматриваясь кругомъ. Никакъ онъ не могъ рѣшиться оставить свое дѣтище... Наконецъ, тихими шагами спустился онъ по трапу. Шлюпка стала удаляться.

— Суши весла! приказалъ вдругъ капитанъ.

Матросы подняли весла.

Ничего не говоря, сидѣлъ капитанъ, пристально смотря на силуэтъ «Самсона». Прошелъ цѣлый часъ — и никто не смѣлъ прервать молчанія. Стало разсвѣтать. Въ блѣдномъ, утреннемъ свѣтѣ видѣлся «Самсонъ» — болѣе, чѣмъ на половину — погруженный въ воду.

Вдругъ замѣтно стало, какъ фрегатъ заколыхался. Это было мгновенье... Волновавшееся море и бѣлая, шипящая пѣна покрыла то мѣсто, гдѣ только что стоялъ «Самсонъ» — краса русскаго флота.

Капитанъ вскочилъ на ноги и, какъ бы машиналь-

но скинувъ шапку, отдалъ честь исчезнувшему исполну.

— На воду! скомандовалъ глухо капитанъ.

Акимову показалось, что на щекахъ капитана, какъ двѣ жемчужины, серебрились крупныя слезы, а можетъ быть то были долетѣвшіе до нихъ брызги...

Корабли, описывая громадныя круги, одинъ за другимъ погружались въ голубоватую поверхность моря. Восходящее солнце тысячу огней освѣщало поднятую зыбь, рисуя на каждомъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ исчезъ корабль, разноцвѣтныя, блѣстающіе круги.

Смотрѣвшіе въ зрительныя трубы англичане и французы хорошо поняли, что фарватеръ былъ загроможденъ и что съ этой стороны, по крайней мѣрѣ, Севастополь сталъ неприступенъ.

Между тѣмъ, цѣлая флотилія баркасовъ и шлюпокъ съ тремя пароходами во главѣ приближалась къ берегу...

Вся команда съ одиннадцати военныхъ судовъ была распределѣна на бастіоны и редуты. Акимовъ съ ротой былъ посланъ на передовой редутъ, на правомъ флангѣ.

Петровъ былъ счастливѣе: его командировали въ самый Севастополь.

Оба товарища до разставанья успѣли обмѣняться нѣсколькими словами.

— Петровъ! обратился къ нему Акимовъ. — Пойди въ Сѣверную улицу, въ домъ Иванова, — тамъ живетъ Маша. Скажи, чтобы она не унывала. Богъ знаетъ, когда я ее увижу. Прощай! Не говори ей: куда я назначенъ. Это извѣстіе убьетъ ее. Старайся ее успокоить, другъ мой!...

Товарищи разстались.

Дня черезъ три послѣ того, на площадѣ у дома главнокомандующаго собралась толпа. Тутъ были сестры, братья, отцы храбрыхъ воиновъ, сражавшихся весь день. Они приходили провѣдать объ участи своихъ дѣтей, братьевъ, друзей, съ замираніемъ сердца раз-узнавая: не находятся ли дорогія имъ имена въ спискахъ убитыхъ или раненыхъ. Въ этотъ день особенно было много народа. Цѣлый день шла сильная перестрѣлка. Особенно горяча была скватка на правомъ флангѣ.

Въ толпѣ, въ черномъ поношенномъ платьѣ стояла дѣвушка. Она прислушивалась къ каждому разговору: не донесется ли до нея какая нибудь добрая вѣсть? Дѣвушка была удивительно хороша собой, не смотря на ея блѣдное, исхудалое лицо, полное выраженія напряженнаго ожиданія и тревоги. Къ подъѣзду вдругъ подскакалъ на взмыленной лошади адъютантъ. То были новыя вѣсти. Вся толпа заколыхалась и обступила подъѣздъ. Минуть черезъ пять адъютантъ торопливо вышелъ. Сотни голосовъ спрашивали его: «что новаго?».

— Передовой редутъ на правомъ флангѣ взять неприятелемъ,—сказалъ онъ монотоннымъ, усталымъ голосомъ.—Всѣ наши тамъ убиты,—закончилъ онъ, какъ заученный урокъ, и взялся за стремя.

Его остановила дѣвушка.

— Скажите, Бога ради! взволнованнымъ голосомъ спросила она;—не знаете ли вы: гдѣ Акимовъ—Никодай Александровичъ Акимовъ? Онъ на правомъ флангѣ служить—на передовомъ редутѣ.

— Убиты! отрывисто, отвѣчалъ адъютантъ, вскакивая на лошадь.

Дѣвушка не трогалась съ мѣста. Смертная блѣдность покрыла ее молодое, измученное лицо. Никто не обращалъ на нее вниманія. Вдругъ страшный, дикій вопль раздался въ толпѣ, и бѣдная дѣвушка—какъ подломленный цвѣтокъ—тихо повалилась на землю.

Часа черезъ два въ сосѣднемъ госпиталѣ кругомъ незнакомки, лежавшей на постели, стояло нѣсколько прислужницъ. Дѣвушка лежала безъ чувствъ. Только слабое, едва внятное дыханіе отъ времени до времени подымало ее грудь. Она была такъ хороша, такъ трогательно было выраженіе ее лица, что даже привыкшія, одеревенѣлыя, госпитальныя прислужницы съ жалостью смотрѣли на нее.

Она вдругъ открыла глаза и, не шевелясь, оставалась такъ минутъ пять. Окружающіе съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣли на нее. Она приподнялась

на кровати, посмóтрѣла на всѣхъ блуждающимъ взглядомъ и, взявъ въ руки распущенныя свои косы и играя ими, тихо засмѣялась. На всѣ вопросы отъ нея не добились никакого отвѣта... На дѣвушкѣ нашли только кое-какія бумаги.

Вечеромъ у госпитальнаго подѣзда уже стояла подвода. Вожатый получилъ листъ, въ которомъ значилось, что упомянутая въ немъ крестьянка Агафья Смирнова отправляется по этапу на свое мѣстожителство въ Смоленскую губернію, въ такой-то уѣздъ, въ помѣщику ея—отставному полковнику Корнѣеву.

Въ то же самое время на французскомъ кораблѣ «Invincible»—съ пулею въ боку и съ раздробленною кистью лѣвой руки лежалъ на мягкой койкѣ Акимовъ.

* * *

Le dernier chant du cygne.

Дорогой другъ мой, Петровъ!

Когда ты прочтешь эти строки, то перекрестись и помолись за твоего друга, Акимова. Зачѣмъ я пишу тебѣ—и самъ не знаю. Въ послѣднюю ночь моей жизни мнѣ хочется опять снова пережить испытанныя мною радости и горе. Страненъ человѣкъ!.. Какъ ни глубоко сидитъ у него въ сердцѣ лезвіе ножа, а онъ все таки изъ послѣднихъ силъ старается еще глубже всадить его,—словно, человѣку хочется узнать: не

почувствуетъ ли онъ еще какой нибудь новой, невѣдомой боли. Ты удивишься и придешь къ заключенію, что человекъ *любитъ* свое горе. Оно возвышаетъ его въ его собственныхъ глазахъ... А можетъ быть оно напоминаетъ ему о счастьи, и это напоминанье о лучшихъ дняхъ такъ дорого, такъ мучительно—дорого... Ужь, право, не знаю. Какъ бы то ни было, но теперь я сижу и пишу тебѣ эти строки.

Ты, конечно, помнишь наше разставанье, когда я уѣзжалъ къ дядѣ. Тогда, едва оправившись отъ раны, я былъ еще такъ слабъ, что чуть-чуть держался на ногахъ. О Машѣ я ничего не зналъ, и эта неизвѣстность меня убивала.

Недѣли черезъ двѣ послѣ нашей разлуки, я подъѣзжалъ къ Голубятному. Свѣтлая, яркія воспоминанія вдругъ ожили передо мной... Былъ теплый, майскій вечеръ. Ко мнѣ на встрѣчу выбѣжала Настя. Она много выросла за это время, стала почти невѣстой. Старикъ дядя принялъ меня, какъ родного сына, и весь вечеръ, какъ водится, разспрашивалъ о войнѣ и о томъ, что я дѣлалъ. О Корѣевыхъ онъ не сказалъ ни слова,—наочно, вѣроятно, не касаясь этого предмета. Хотя я никогда не признавался ему въ своей любви къ Машѣ, но онъ все отлично зналъ, какъ вообще въ деревнѣ знаютъ все и вся... Радужный пріемъ дяди и Насти сильно растрогалъ меня.

Вечеромъ, уходя въ свою комнату, я попросилъ

Настю проводить меня. Я все еще смотрѣлъ на нее, какъ на ребенка.

— Что подѣлываютъ господа Корнѣевы? равнодушнымъ тономъ спросилъ я Настю.

Та потушила глаза.

— У нихъ большое горе случилось... отвѣчала она. — Мама убѣжала... Не давно только что привезли ее... Правда ли, Коля, что она къ тебѣ ѣздила?

Настя вопросительно уставилась на меня.

— Здорова она?, спросилъ я ее въ свою очередь, не желая отвѣчать ей.

— Какъ! Развѣ ты не знаешь? проговорила Настя. — Вѣдь, она съ ума сошла!

— Не правда! Скажи, что это—не правда! крикнулъ я, сжимая руки Настѣ.

Та испуганно посмотрѣла на меня.

— Такъ это, значить, правда... въ полголоса, какъ бы про себя, промолвила она.—Развѣ ты не знаешь, что у нея тутъ родилась дочь, которая послѣ трехъ дней и умерла?

Слова ея, какъ ножомъ, рѣзнули меня по сердцу. Сердце такъ болѣзненно забилося, точно что нибудь вдругъ придавило его. Я хорошо не помню, что было со мною тогда... Въ ту пору, вѣдь, я еще не совсѣмъ оправился отъ раны. Помню только, что я рыдалъ, какъ ребенокъ, и Настя, тоже какъ ребенокъ, старалась утѣшить меня.

Всю ночь просидѣлъ я у окна, передумывая: что мнѣ дѣлать. Сидѣлъ я таѣе, закрывъ глаза, до тѣхъ поръ, пока солнце не взошло высоко...

Наконецъ, я рѣшился.

Приказавъ запречь тарантасъ, я отправился къ Корнѣевымъ. Какъ тебѣ описать то, что я чувствовалъ, подѣзжая къ ихъ дому. Совѣсть мучила меня— за что? не знаю. Неужели безграничная любовь можетъ быть преступленіемъ?..

На встрѣчу ко мнѣ никто не вышелъ, и я замѣтилъ, какъ изъ-за угловъ кое-гдѣ на меня посматривали. Я вошелъ въ переднюю и тамъ никого не оказалось. Съ трепетомъ отворилъ я дверь въ гостинную...

У окна сидѣла Маша, пальцами выдѣлывая себѣ разные знаки. Старики Корнѣевы, какъ и во время моего перваго посѣщенія, сидѣли у круглаго столика и пили кофе. Они замѣтили меня не ранѣе, какъ я уже стоялъ посреди комнаты... Корнѣевъ вскочилъ и неистово закричалъ на меня:

— Вонъ изъ моего дома! Какъ ты смѣлъ явиться сюда! Вонъ!..

И въ то же время онъ замахнулся чубукомъ, чтобы ударить меня.

Я не трогался съ мѣста и все смотрѣлъ на Машу. Она, очевидно, не узнавала меня.

Мать Маши, увидавъ мужа съ поднятою рукой, бросилась къ нему.

— Не смѣй его трогать! вскрикнула она.

Вдругъ лице ея преобразилось. Кротко — покорное выраженіе исчезло съ него. Она грозно смотрѣла на мужа и голосомъ твердымъ и суровымъ продолжала:

— Не смѣй его трогать! Развѣ онъ виноватъ? Развѣ онъ не честно поступилъ?... Вѣдь, онъ просилъ руки Маши... Мы съ Машей на колѣняхъ вымаливали у тебя согласія. А ты! Ты отказалъ, ты пренебрегъ счастьемъ твоей дочери! Ты одинъ—виноватъ. О, какъ презираю я тебя за то! Что ты смотришь такъ на меня? Развѣ я неправа? Теперь ты накидываешься на него... А самъ ты—извергъ — родное свое дѣтище погубилъ! Не смѣй ему ни слова говорить! Ты у него прощенья долженъ просить. Смотри развѣ не ты погубилъ и его! Ты жизнь его разбилъ... А онъ чѣмъ виноватъ? Онъ уплатилъ отцовскіе долги и потому теперь—бѣденъ. А ты за то разстроилъ его счастье... Не его одно счастье—ты погубилъ двѣ жизни. Да! Это—подло, бездушно! Слышишь! Не смѣй его трогать! Онъ—мой!

И старушка, плача, крѣпко обняла меня.

Я стоялъ, какъ истуканъ. Корнѣевъ отвернулся и тоже не трогался съ мѣста. Маша продолжала, молча, неподвижно сидѣть у окошка, тупо-безсмысленно смотря на насъ. Я быстро подошелъ къ ней.

— Маша! заговорилъ я. — Неужели ты не узнаешь меня?

*

Она мнѣ тихо улыбнулась.

— Вспомни, какъ зовуть меня.

Она взглянула на меня и какимъ-то беззвучнымъ, деревяннымъ голосомъ промолвила:

— Коля!

Я радостно вскрикнулъ и, взявъ ее за руку, подвелъ къ Корнѣеву.

— Михаилъ Алексѣвичъ! обратился я къ нему. — Я прошу у васъ руки вашей дочери. Всю свою жизнь я посвящу ей. Авось, Богъ поможетъ и возвратитъ ее намъ!...

Недѣли три спустя послѣ того, я женился. Состояніе Маши не улучшалось. Я лелѣялъ ее и ухаживалъ за нею, какъ за ребенкомъ. Она была ласкова, добра, почти совсѣмъ не говорила и по временамъ тихо улыбалась. Ежедневно я дѣлалъ съ нею дальнія прогулки. Она страстно любила цвѣты, играла ими и вила изъ нихъ вѣнки. Она такъ привыкла ко мнѣ, что не отходила отъ меня ни на шагъ. Когда я удалялся отъ нея, глаза ея настойчиво, упорно слѣдили за мной. Когда я принимался цѣловать ее, она улыбалась, какъ будто во снѣ.

Къ тому времени я уже подалъ въ отставку... День проходилъ за днемъ, не принося никакой перемѣны. Я жилъ тогда воспоминаніями минувшихъ счастливыхъ дней. И что жъ! Я былъ почти счастливъ...

Такъ прошло мѣсяцевъ восемь.

Разъ ночью ко мнѣ прискакалъ нарочный: съ дядей случился ударъ, и Настя послала за мною. Мой дядя скончался въ ту же ночь. Онъ оставилъ мнѣ часть своего состоянія и назначилъ меня опекуномъ Насти. Бѣдная Настя! Какъ тѣнь, бродила она по всему дому, не промолвивъ ни съ кѣмъ ни словечка. Сухіе глаза ея смотрѣли какъ-то жестко, неподвижно...

Когда гробъ опустили уже въ могилу и посыпавшаяся земля глухо застучала по крышкѣ гроба, только тогда Настя вдругъ очнулась и громко зарыдала...

Послѣ похоронъ я увезъ Настю къ себѣ въ Кудряцево. Она слушалась меня безъ всякихъ возраженій. Жена моя сначала дичилась ея, а потомъ мало по малу стала привыкать къ новому для нея лицу... Только черезъ годъ Настя позабыла свою потерю, и въ нашемъ угрюмомъ домѣ сталъ раздаваться ея дѣтскій, серебристый смѣхъ. Этотъ смѣхъ какъ-то, хоть нѣсколько, освѣжалъ меня...

Былъ ли я тогда счастливъ? Кажется, «нѣтъ!» Невольное чувство одиночества овладѣвало мною. Душевное состояніе жены моей не улучшалось. Иногда вся душа моя стремилась къ ней и я, забываясь, начиналъ говорить ей о себѣ, о моей любви, о воспоминаніяхъ прошлыхъ дней — и глупый, идиотическій смѣхъ былъ лишь мнѣ отвѣтомъ. Я чувствовалъ себя виновникомъ ея болѣзни, но тѣмъ не менѣе все-таки

я порой уже начиналъ роптать на свою судьбу. Какъ ни воодушевляйся человѣкъ чувствомъ долга, какою силою воли ни запасайся для исполненія своихъ—иногда очень грустныхъ, тяжелыхъ обязанностей—онъ все-таки оказывается слабъ. Внутренній, едва внятный голосъ постоянно нашептываетъ ему, что есть на свѣтѣ другое счастье, иныя радости...

Однажды съ женой и Настей прогуливался я по саду. Жена моя, сорвавъ василекъ, стала общипывать листки его и вдругъ сунула въ руку Настѣ пустой, обнаженный стебелекъ. Настя улыбнулась ей и стала разсматривать коронку цвѣтка.

— Странно, какъ подумаешь, что тутъ нѣтъ ни одного волоска, который не имѣлъ бы своего назначенія для общей жизни цвѣтка! сказала Настя. — Хотѣлось бы мнѣ узнать всю внутреннюю жизнь цвѣтка...

Я вызвался заниматься съ нею. Ежедневно стали мы съ нею читать—и такъ проводили цѣлые часы съ луною въ рукахъ. Одно занятіе смѣнялось другимъ. Жизнь стала какъ-то полнѣе. Жена моя всегда сидѣла въ комнатѣ съ нами, смотря на насъ своимъ ничего не выражающимъ взглядомъ... Быстро развивалась Настя. У нея выработывался совершенно своеобразный взглядъ на вещи и мнѣнія ея отличались самостоятельностью. Въ разговорахъ я замѣчалъ тогда, что мнѣнія ея были какъ бы отголоскомъ моихъ собственныхъ мыслей, ни разу, впрочемъ, еще не выска-

занныхъ въ слухъ... Много читали мы съ нею вмѣстѣ. Разъ какъ-то, читая англійскій романъ, повели мы рѣчь о трактуемомъ предметѣ, а именно—о дружбѣ между молодымъ человѣкомъ и дѣвушкой.

— А развѣ такая дружба возможна? спросила меня Настя.

— Конечно, возможна! возразилъ я. — Возможна, только не для всякаго... Натуры, богато одаренныя, много испытавшія, могутъ знать чувство такой дружбы. Неужели же, Настя, ты думаешь, что мущина не можетъ видѣть въ женщинѣ товарища-друга? Развѣ обмѣнъ мыслей, впечатлѣній не можетъ происходить безъ того, чтобы въ нему не примѣшивалась восторженность, чувство вызывающей любви? Неужели женщина не можетъ въ мужчинѣ любить не мущину, но строй его мыслей, его умственные и душевные качества?

— Не думаю! отвѣчала Настя, какъ-то странно смотря на меня. — По моему, въ такихъ отношеніяхъ всегда возникаетъ тайная, иногда обоими непризнаваемая, интимная, связь — первый предвѣстникъ любви. Сколько я ни читала, я всегда угадывала въ романѣ минуту появленія этого чувства. Можетъ быть, въ свѣтѣ, гдѣ сталкиваешься съ сотнею людей — такое чувство дружбы и возможно... Живя между многими, можно выбрать у нихъ лучшія качества и любить людей за эти качества. Но это, по моему, — не дружба; это—чувство уваженія, одобреніе, бессознательное по-

такательство своимъ собственнымъ чувствамъ. Въ такомъ случаѣ любишь въ человѣкѣ эти качества потому, что они сродны своимъ собственнымъ чувствамъ. Нѣтъ! Это—не дружба, а силлогизмъ, выведенный холоднымъ разсудкомъ.

— Что ты говоришь, Настя! возразилъ я.—Именно, только чувство дружбы позволяетъ намъ судить, сравнивать и дѣлать свои заключенія. Одна только любовь бессознательна. Любишь и самъ не знаешь — почему любишь... Да, просто, потому, что не можешь не любить!

— А я думаю, что только дружба можетъ вести къ любви! замѣтила Настя. — Мнѣ непонятна любовь, являющаяся ни съ того—ни съ сего.

— Жизнь тебѣ скажетъ, что такая любовь — возможна! сказалъ я—и при этомъ опять подмѣтилъ ея странный взглядъ.

Нѣсколько дней спустя, Настя гуляла со мной въ саду и вдругъ, глянувъ въ сторонѣ, спросила меня:

— Коля, сосѣдъ Корниловъ просилъ сегодня моей руки... Чтò мнѣ ему отвѣтить.

Тутъ я посмотрѣлъ на Настю и понялъ, что она уже—не ребенокъ. Она стояла, немного отвернувшись отъ меня и играя вѣткой кустарника. Заходящее солнце бросало на ея лице розовый оттѣнокъ. Ея блѣдые волосы, слегка приподнимаемые вѣтеркомъ,

блестѣли, озаренные яркимъ свѣтомъ. Я только въ эту минуту созналъ, какъ хороша она...

— О, нѣтъ, Настя! Откажи ему! Чтò буду я безъ тебя дѣлать? вырвалось у меня.

Яркая краска разлилась по ея лицу, и она, взявъ меня подъ руку, тихо прошептала:

— Благодарю! Я такъ и сдѣлаю.

Мы гуляли нѣсколько минутъ, молча... Бури бушевала во мнѣ. А за нами слѣдомъ шла жена, играя цвѣтами. Я обернулся... Бѣдная Маша! Она въ качествѣ безсознательнаго свидѣтеля присутствовала при нашемъ разговорѣ. Я подошелъ къ ней и, поцѣловавъ ее, бросился къ себѣ въ комнату.

Съ той поры наши отношенія съ Настей измѣнились. Мы никогда болѣе не оставались съ нею вдвоемъ, не ѣздили, какъ бывало прежде, верхомъ по цѣлымъ часамъ и сидѣли или въ гостинной, со стариками, или каждый въ своей комнатѣ... Такъ цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ боролся я съ самимъ собой. Но, нѣтъ! Я любилъ... любилъ выше всего! Я чувствовалъ, что люблю... А жена?! Я глубоко, искренно жалѣлъ ее. Видитъ Богъ,—я не ропталъ. Воспоминаніе о прожитомъ оставалось неизгладимо. Какъ понять эти два чувства!...

Жизнь, наконецъ, стала для меня пыткой. Всѣ замѣчали во мнѣ перемену. Я страшно исхудалъ и весь какъ-то опустился. Мы съ Настей въ эти шесть мѣсяцевъ почти не говорили. Не рѣдко замѣчалъ я, какъ

взоры моей жены устремлялись на насъ съ какою-то странною настойчивостью.

Сидѣли мы однажды вечеромъ послѣ чая. Старики Кориѣвы ушли въ свою комнату. Жена моя приютилась въ темномъ уголку. Мы съ Настей сидѣли другъ противъ друга. Въ это время она посмотрѣла на меня. На глазахъ ея показались слезы...

— Зачѣмъ мы мучимъ себя? тихимъ голосомъ проговорила она.—Я завтра хочу ѣхать.

— О, нѣтъ! Не уѣзжай! вскричалъ я, вскакивая со стула и подходя къ ней. — Это мученіе все таки лучше разлуки.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я рѣшилась—и уѣду... повторила она и вдругъ, поднявшись, она обняла меня и едва слышно, скороговоркой продолжала:—Я уѣду. Но дай же мнѣ хоть разъ въ жизни сказать тебѣ, что я люблю тебя, уже давно люблю. Ты былъ для меня все на свѣтѣ. О, милый! За этотъ мигъ я готова отдать все—всю жизнь!...

Я держалъ ее въ объятіяхъ и страстно цѣловалъ ее.

Вдругъ шумъ, стукъ падающаго тѣла заставилъ насъ вздрогнуть...

На полу въ страшныхъ судорогахъ лежала Маша. Настя стремительно выбѣжала изъ комнаты.

Жену я поднялъ и уложилъ въ постель. Бѣдняжка была безъ чувствъ. Протекли долгіе, скучные часы, а

Маша не приходила въ себя. Я со стариками Корнѣвыми стоялъ у ея изголовья...

Сегодня утромъ она неожиданно вдругъ открыла глаза. На ту пору я стоялъ передъ нею.

— Коля! Ты ли это? прошептала она чуть слышно.—Гдѣ я? спросила она, озираясь кругомъ.—О, батюшка, мама! Простите меня!...

По щекамъ ея катились слезы.

Я стоялъ, потрясенный до глубины души. Отецъ и мать, плача, стали ласкать ее.

— Коля! Чтожь ты не поцѣлуешь меня? вдругъ тревожно спросила меня Маша.

Я наклонился къ ней и, поцѣловавъ ее, почти бѣгомъ кинулся изъ комнаты. Бѣшенство выпѣло во мнѣ. Проклиная свою жизнь, скитался я весь день по полямъ, какъ сумасшедшій, Натолкнувшись на меня посланный привелъ меня, наконецъ, домой...

Маша спала тихимъ сномъ... Оказалось, что она ничего не помнитъ съ того самого дня, какъ ей сообщили невѣрное извѣстіе—будто бы я убитъ. Я былъ невольною виной ея несчастья... Но теперь она—здорова. Теперь я долженъ вознаградить ее за все, я долженъ любить ее. Ты понимаешь: я обязанъ—теперь, когда вся душа моя полна другою. Нѣтъ, не могу! Я убью себя...

Это мнѣ — не подѣ силу.

* * *

Дня черезъ четыре послѣ того, какъ было написано это письмо, съ сельскаго кладбища шли пѣшкомъ подъ руку двѣ женщины, опираясь другъ на друга. То были—жена и двоюродная сестра только что зарытаго въ землю Акимова.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВАГО ТОМА.

Русскіе типы.

	Стр.
I. <i>Подсудимые</i>	5
II. <i>Авдеевъ</i>	16
III. <i>Стена Симбирскій</i>	31
IV. <i>Кумушка</i>	42
V. <i>Тяни, тяни, да отдай.</i>	53
VI. <i>Порядовщикъ</i>	67
VII. <i>Пойми!</i>	79

Порченые.

I. <i>Божій человекъ</i>	99
II. <i>Садовникъ</i>	110
III. <i>Ямщикъ.</i>	121

Повѣсти.

	Стр.
I. <i>Юношеская любовь</i>	131
II. <i>Не пришлось</i>	165
III. <i>Нертъшенный вопросъ</i>	209
IV. <i>Не подъ силу</i>	249

ПРОПУСКЪ.

На стр. 63 между первую и второю строкой снизу должно
быть поставлено: «10 іюня 187* года».

СОДЕРЖАНІЕ

въ непродолжительномъ времени выходящаго

ВТОРАГО ТОМА:

Не судьба. (Повѣсть).

Судебное дѣло. (Романъ).

Золотыя ири. (Сцены).

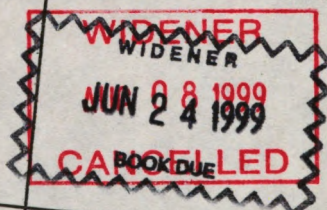


3 2044 019 799 907

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

*Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.*

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413



Please handle with care.
Thank you for helping to preserve
library collections at Harvard.

